



Александр Мотельевич Мелихов

Каменное братство

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9754611

Каменное братство: Роман: Лимбус Пресс; Санкт-Петербург; 2014

ISBN 978-5-8370-0660-9

Аннотация

«Каменное братство» – не просто роман, это яркий со временный эпос с элементами нового мифологизма, главная тема которого – извечная тема любви, верности и самозабвенного служения мечте. Главный герой, вдохновленный Орфеем, сначала борется за спасение любимой женщины, стремясь любыми средствами вернуть ее к жизни, а затем становится паладином ее памяти. Вокруг этого сюжетного стержня разворачиваются впечатляющие картины современной России, осененные вечными образами мужской и женской верности. Россия в романе Александра Мелихова предстает удивительной страной, населенной могучими личностями. Такая страна стоит того, чтобы в ней жить и бороться за свое и ее будущее.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Подручный Орфея | 5 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 47 |

Александр Мелихов

Каменное братство

Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга

© А. Мелихов, 2014

© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2014

* * *

Подручный Орфея

Хорошо, что я в тот вечер ничего не соображал. Одно дело прокричать, проорать, прохрипеть, что лучше мне ее видеть в гробу, чем на полу в собственной луже, а другое дело и впрямь увидеть ее на смертном одре, опутанную трубками, уходящими в пустоту черных ноздрей, черных как сажа на стеариновом лице с намертво стиснутыми веками. Крепитесь, готовьтесь к худшему – как я мог к чему-то готовиться, если я ничего не понимал! Только у себя на полутемной ночной лестнице я сумел понять, что означает эта понурая фигура у моей двери: бомж зашел погреться. На верхней площадке под чердаком у них было целое гнездо, как-то раз из окна повалили клубы дыма, пожарные – помесь римских легионеров с аквалангистами – геройски ринулись ввысь по лестнице и потом долго вышвыривали на асфальт дымящиеся клочья какой-то черной овчины. Так что даже под толщей одури во мне шевельнулась досада, что и в такой кошмарный час от этой нечисти нет покоя – и тут же укол стыда: на улице каленый седой мороз, ему, видно, так всю ночь и придется простоять...

И тут у меня голова мотнулась от внезапности:

– Хозяин, пусти погреться!

Он что, рехнулся?..

Однако под анестезией шока, кроме досады, я почувствовал еще и оторопелость – уж очень необычный голос был у этого деграданта. Так, бывает, в опере пьянчужку исполняет какой-нибудь дивный баритон – со всякими забулдыжными ужимками, пробуждающими в публике вместо брезгливости лишь ветерок аплодисментов. Но одним только своим странным голосом он бы меня не взял – мне вдруг пришла в голову сумасшедшая мысль, что он послан мне в какое-то испытание, и если я его выдержу, судьба вернет мне Ирку. И я понял, что готов на все, лишь бы она вернулась – в каком угодно обличье, – со всклокоченной войлочной головой, с заплывшими глазами, в луже, в саже...

– Заходи, – грубовато, но гостеприимно распахнул я дверь перед засаленным камуфляжем и, колебавшись, добавил: – Те.

Раздеться, однако, не предложил, опасаясь набраться вшей на нашу вешалку, попутно промельком сочинив довольно хитрую для контуженного отговорку: в телогрейке своей армейской он скорее согреется. Я и табурет на кухне ему предложил не без некоторого содрогания брезгливости, но уж накормить его без тарелки и напоить без чашки я никак не мог. Ладно, прокипачу...

– Спасибо, хозяин. – Его странный голос пронял меня до глубины, уж конечно, не одной своей удивительной полнозвучностью, но и какой-то совершенно не будничной благородной проникновенностью, заставившей меня впериться в него взором контрразведчика: да бомж ли это?..

Его десантный камуфляж при домашнем свете выглядел совершенно чистым, а опухшее лицо с заплывшими глазами тоже было совсем не алкоголическим, оно скорее принадлежало какому-то буддийскому божку, мудрому и всеприемлющему.

– Не горюй, хозяин, все наладится, – ласково щурясь на меня, произнес он своим берущим за душу голосом, – давай лучше выпьем с горя, у меня с собой есть.

Иркины уроки отковали во мне такую ненависть к спиртному, что я скорее с горя окупился бы в помой, чем стал осквернять пьянкой свое незапятнанное страдание, однако голос моего камуфляжного гостя был столь чарующим, взор столь мудрым и ласковым, что через две минуты на столе уже стояли нарезанный сыр и колбаса, а хрустальные стопки были готовы принять в себя настойку боярышника. Ничего, хоть попробую, что он за боярышник за такой, авось не последую за Иркой. А если и последую...

Странно, правда, что он выставил на стол не аптечный пузырек, а выпукло-вогнутую фляжку золотистого металла, покрытую идеально круглыми следами шлифовки.

– Ну, давай за все хорошее! – это была не расхожая застольная присказка, но действительное признание в любви ко всему хорошему и не такая уж робкая надежда, что оно когда-нибудь победит.

Когда мы чокались, я заметил, что у него совершенно чистые граненые ногти, и только тогда осознал, что какая-то неубитая часть моей души невольно к нему принюхивается и дивится полному отсутствию малейших дурных запахов и даже, наоборот, присутствию в воздухе не то чтобы аромата, но какой-то шири, что ли, которую хотелось вобрать в себя поглубже. И солнечный напиток, проглоченный мною отрешенно и торопливо, как лекарство, дышал тоже не ароматом, это было бы слишком пышно, но не то лесной поляной, не то летней степью... Да, именно степью, до меня донесся едва уловимый запах полыни и далекого пала, как у нас называли выжженные пространства.

Напиток был сладкий, но совсем не липкий, вроде бы и не крепкий, но я забалдел от первой же стопки. Забалдел каким-то странным образом – очумелость вовсе не усилилась, а, наоборот, отхлынула, я начал ясно понимать, что с нами стряслось, – только понимать с той неправдоподобной разницей, что наша с Ирккой история предстала мне на диво прекрасной. Лишь теперь я понял, какая сила заставляет людей исповедоваться перед незнакомцами – не жажда жалости, но жажда восхищения: никому другому не выпало столько счастья и столько отчаяния.

Мой гость умел слушать еще лучше, чем говорить, – в нужных местах он с редким чистосердечием смеялся, и его голубенькие глазки сияли из щелочек бледными спиртовыми огоньками, где надо, замирал, и тогда его глаза округлялись и наполнялись глубиной ночного неба при ясной луне, но и эта лунная тьма не внушала мне ужаса, ибо в его сострадании неизменно светилось алмазное зернышко восхищения, и это означало, что он понимает меня именно так, как должно.

Свою черную вязаную шапочку он сунул в карман расстегнутой камуфляжной куртки, и его золотистые с серебряным шитьем волосы рассыпались по серому искусственному меху воротника, и это были не засаленные патлы, но промытая отличным шампунем артистическая шевелюра, напомнившая мне не кого-нибудь, а Ференца Листа. Или еще кого-то, кого я никак не мог припомнить...

Бетховена, Рубинштейна? Или моего школьного друга Сашку Васина? Нет, не то, не то.

* * *

В обычных сказках любовь превращает безобразное чудовище в прекрасную принцессу, а в моей три десятилетия волшебной любви не помешали прекрасной принцессе обратиться в безобразное чудовище. А когда у меня наконец достало сил и ненависти стряхнуть его с себя, оно осушило чашу с ядом и на смертном ложе вновь превратилось в прекрасную принцессу.

– Но ведь я же имел право, я же был прав?! – с отчаянием воззвал я к моему странному гостю, и он ответил с бесконечным состраданием, но и с полновучной непреклонностью:

– Конечно же, ты имел право, конечно же, ты был прав. Но чего стоит наша правота перед лицом смерти! Я тоже почти всегда был прав в наших ссорах с Эвридикой, но когда она исчезла, оказалось, что важна только одна правда: я не могу без нее жить. Не бледней, не бледней, бледнеть тебе больше некуда, хуже уже не будет. Да, я тот самый Орфей, и я потерял Эвридику из-за того, что усомнился в могуществе любви, захотел убедиться в ее власти собственными глазами. И ты тоже потеряешь свою Эвридику, если мне не согласишься. А я могу тебе ее вернуть. Только для этого ты должен исполнить три мои урока. Я ведь

с тех самых пор, как остался один, так и брожу по свету и помогаю другим несчастным, кто теряет своих возлюбленных. Только их такое множество, что одному мне не управиться и с тысячной долей. Поэтому я выбираю тех, в ком есть частица меня самого, в ком есть дар очаровывать людей звучанием слов. И я предлагаю им взять на себя частицу моей работы. Если они справляются, я протягиваю руку помощи им самим. Все справедливо. Вы меня понимаете?

С проникновенного «ты» он внезапно перешел на официальное «вы», и меня обдало холодом ужаса, что он разочаровался во мне.

– Да, да, конечно, я все понимаю, что я должен сделать?

– Я тебе дам адреса трех несчастных, которые теряют своих возлюбленных, и ты им их вернешь.

– А... А я справлюсь?

– Это будет зависеть от тебя. Но данные у тебя имеются, мне есть что в тебе усиливать. Я же не всемогущ, я могу из сильного парня сделать чемпиона, но из пустоты не могу создать ничего. А большинство людей до изумления лишены дара слова. Эти жалкие создания пробиваются на трибуну, собирают все крохи обаяния – и душат свои жертвы скукой. А у тебя был дар певца, пока ты от него не отвернулся. Он сделался тебе не нужен, ты и без этого был слишком счастлив со своей Эвридикой. А теперь я его тебе верну с прибавлением. С довеском, как говорят у нас в бомжатнике. Ты там всегда сможешь меня найти, в ночлежке на улице Генерала Федякина. Спросишь Артиста, меня так называют из-за шевелюры. Я не хочу обзаводиться собственным домом, мне там слишком одиноко, среди бездомных мне не так грустно. Так вот, я укажу тебе три еще недавно счастливых дома. И в каждом любимая жена уходит от своего суженого в какой-то собственный туман, в собственный дурман. Одна уходит в телефонные разговоры с подругами, другая в телевизионные сериалы, а третья – третья самая трудная. Она уходит то в актрисы, то в самоубийцы, то в православие, то в ислам... Она сама не знает, кем поднимется с утренней постели, за нее с ее паладином ты и возьмешься в последнюю очередь. Ты уже и сейчас сумеешь что-то о них расслышать, если хорошенько вслушаешься.

Я вслушался с таким напряжением, что не расслышал, как хлопнула входная дверь, – ее заглушило эхо чужой жизни, чужой любви.

Сначала эхо принялось возводить свой воздушный замок из привычных блоков: простой честный парень влюбляется в невыносимое существо – в *женщину с исканиями*, взявшую от обоих полов самое худшее: от мужчин апломб, от женщин капризность – что хочу, то и правильно. Первым из прошлого откликнулся Сережка Кашаев: то он понуро томился в коридоре у чертога своей повелительницы Марьяны Горобец, то влачился за нею, похожей на встрепанного грачонка, надменно вскинувшего слишком большой для ее субтильной фигурки носище, – рядом с нею и сам невысокий Сережка казался крупным и плечистым, а его подсвернутый набок нос почти аристократическим... Теперь я еще и расслышал его одышливое дыхание – череду безнадежных вздохов, его старческое шарканье, как будто он брел не в туфлях, а в растоптанных домашних тапочках. И о том, что он наглотался иголок, я только слышал, а как его увозили, видела одна лишь Марьяна: к пяти утра в общаге унимались и самые неугомонные. Потом до меня донеслось, что они поженились, и в следующий раз я встретил его лет через десять в морозной вечерней электричке.

Мне помешала узнать его не дворянська шапка с опущенными ушами и даже не чеховская борода, но выражение полного приятия вселенной. И обрадовался он нашей встрече раз в тридцать сильнее, чем требовало наше отдаленное знакомство, – он просто сиял, ничуть не смущаясь отсутствием пары-тройки зубов.

Он живет в Комарово, то есть не в самом Комарово, нужно еще пилить сорок минут на автобусе, но это ничего, если топят, хотя если не топят, тоже ничего, дома своя печка,

если с осени напилить да наколоть дров, вообще рай. Дом свой, то есть жены, жена умница, на шесть лет старше, три ее девочки ему как родные, я сам все увижу, когда приеду, тут главное не попасть на отмену автобусов, тогда можно прождать часа два, но зато жена так меня примет! У них все свое: картошка в подполе, квашеная капуста, брусника, грибы, все сами собирали, он теперь даже не хочет в город переезжать... Он, правда, по дочке скучает, но все равно бы он не смог с нею видаться – «ведь ты же Марьяну знаешь...».

При имени Марьяны по его сияющему лицу чеховского интеллигента с подсквернутым носом пробежала тень ужаса и тоски, но через мгновение он снова был само жизнепринятие: приезжай, жена, все свое, девочки воспитанные, на собаку не обращай внимания, она только кидается, но укусить не укусит...

Мороза ли ему бояться или каких-то жалких собак после надменного грачонка!

Марьяна позвонила мне на пике митингов – как нам обустроить Россию. Держалась она повелительно: она слышала, что у меня имеется кое-какой дар слова, а у нее есть идеи – вот она и будет снабжать меня идеями, а я их буду проповедовать перед народом, – у нее самой слишком большая харизма, это ей и на работе всегда мешало, начальство, особенно женщины, сразу понимали, что они ей в подметки не годятся, и начинали строить козни, а вот у меня харизма невидненькая, мне никто завидовать не станет...

Другая гениальная женщина, откликнувшаяся на призыв Орфея, была художница, умевшая вырезать из рокошущей шепотом черной бумаги действительно забавные фигурки, тронутые легким безумием. Она пыталась склонить меня к любовным утехам, когда ее муж писал диссертацию в соседней комнате: «Не бойся, он ни за что ко мне не войдет!» – страстно шептала она, однако я бы не только не стал подвергать столь чудовищному надругательству даже и незнакомого человека, но и вообще, с тех пор как я обрел Ирку, считал подобные развлечения такой же нелепостью, как если бы кошка, которой я в сентиментальную минутку полюбовался или погладил, начала тащить меня в постель.

А повелительница нашего альпиниста была всего лишь томной: Виталик, подай это, Виталик, подай то... Виталик, член сборной по альпинизму, со своим стетоскопом покоривший и прослушавший все заоблачные вершины, во время отпусков валил лес на северах, чтобы купить своей повелительнице шубу. Не только женская, но и мужская половина нашей лаборатории исходила желчью, слушая, как он чеканит в трубку: «О цене не думай! Я работаю!» Нас бы это так не раздражало, если бы она использовала его лишь на героических поприщах, для которых он был рожден – двухметровый нордический атлет с античным профилем, который лишь слегка искажался вытянутым кончиком носа, за который его водила супруга, – но она его гоняла по таким прихотям, по которым передовая барыня не стала бы утруждать и лакея.

Помню, во время конференции «Звучащая раковина» в жаркой Одессе (чернильные пятна раздавленной шелковицы на тенистом асфальте, мальчишка, гнавший по ракушечной лестнице арбуз вместо футбольного мяча) мы млеем на раскаленном пляже «Аркадия», и обмахивающаяся соломенной шляпой королева томно просит своего пажа: «Виталик, сходи за мороженым». Мороженого на пляже нет, но Виталик отвечает: «Есть!» – одевается и широким мужественным шагом отправляется по жарнице в город. Через полчаса, отмахав три километра по расплавленному асфальту, он возвращается с подтаявшим мороженым, однако властительница впадает в еще большую стенающую томность: «Виталик, это же ванильный пломбир, а я хотела крем-брюле!» – «Будет сделанно!» – щелкает каблуками Виталик и еще более мужественным шагом отмахивает по расплавленному асфальту новые три километра.

Разумеется, я бы тоже прошагал шесть километров по жаре, если бы Ирка меня попросила, но в том-то и дело, что это была бы уже не Ирка, она всегда стремилась больше отдать, чем взять, и когда я лет через пять после ухода нашего альпиниста в свободное плавание

встретил его царицу в буфете Публичной библиотеки, то был слегка раздосадован: придется как-то вписываться в ее томность. Однако она была уже не томной, а скорбной: «Виталик оказался подлецом». Как, с надеждой вскричал я, он же вас так любил! «Все это была маска. Под которой скрывался развратник. Вы представляете, он докатился до продавщиц, до парикмахерш!» Какой ужас, невозможно было представить, радостно сокрушался я: хоть отведает бедный покоритель гор простого человеческого счастья!

Правда, когда я его встретил на Мойке, со сверкающей американской улыбкой преуспевающего черепа, спускающегося из сверкающей черной машины... опять забыл, как они называются, «кроссинговер», не «кроссинговер»... я пожалел, что он уже не альпинист на побегушках, а крутой мэн, владелец собственной подслушивающей фирмы: о нашем общем прошлом он отзывался как о потешной нелепости – какие же мы были дураки, чем занимались, что ели!

Мужественно шагая по расплавленному асфальту с подтаявшим крем-брюле для своей богини, он был куда симпатичнее... И мой последний страдалец, полюбивший женщину с исканиями, был тоже – теперь я это хорошо расслышал! – отнюдь не прост, но очень даже сложен, если сумел откликнуться таким порывом, которые представились бы всего лишь истерическими вывертами душе попроще.

Даже моей собственной еще минуту назад. Но сейчас она наконец-то сумела откликнуться чему-то новому, незатасканному – столкновению туманной грезы о выси с безоглядным стремлением ввысь.

* * *

Рослый крепкий парень с Первой Рессорной отличается от дружков простительным чудачеством – годами одну за другой проглатывает книги из деповской библиотеки, так что библиотекарьша сначала не верит, что можно читать столь быстро, и заставляет его пересказывать даже те книжки, которые и сама не читала. Глощает он, разумеется, всякую белиберду, но в белиберде-то как раз и можно набраться вдесятеро больше благородных чувств, чем в полном собрании Чехова и Пруста. Одна только серия «Подвиг»...

Но у Андрея все-таки хватает ума не обнаруживать свои возвышенные грезы в низких буднях, а только готовить себя к будущему миру, которому нужно было явить себя не только высоким, но и красивым. Он так упорно ходит на бокс при ДК «Железнодорожник», что его даже посылают на область, где он выколачивает третье место и первый разряд в более чем среднем весе.

А затем поступает в мурманскую мореходку: путь в высший мир пролегал через шторма и заморские страны. И в этом высоком мире на высоком берегу его будет ждать какая-то неземная девушка, неясная, но прекрасная.

Девушки его отнюдь не обходили, да и он их не чурался – в нелепой надежде каким-то чудом отыскать среди них ту, неземную, – ну, и еще не хотелось прослыть чокнутым. Не говоря уже, что просто хотелось, и Андрей не видел причин отказывать своему сильному телу – в будущий высокий мир он должен был вступить бывалым во всех отношениях, в этом, он понимал, и будет заключаться его единственный козырь. Что вот только плохо у него получалось – ему было легче переспать, чем поцеловать: в койке он ничего не обещал, а поцелуи, казалось, обещают неизмеримо больше того, чем они с партнершей намеревались друг с дружкой обменяться.

Когда он после пробного рейса в лихой моряцкой форме вышел прогуляться по мурманской увеселительной стометровке, из какого-то палисадничка его окликнула разлегшаяся там пьяная баба и принялась зазывать нескладными русалочьими жестами, надолго ввергнувшими его во мрак: да неужели же он так жалок, что она считает его способным ею

заинтересоваться?.. Вот и после нормальных девок в нем каждый раз пробуждался отголосок той первой тоски.

Однажды он даже решился поделиться со своим наставником, выдавшим и заграничные виды морским волком. Старый морской волк понял его по-своему: да, мол, что верно, то верно, за бугром подстилки чистые, культурные, а у нас обязательно обоссанные...

Он безнадежно скривился. Был у него случай в Вальпараисо, еще при совке, – он был уже «дедом», старшим механиком: тогда на берег выпускали только по трое – один ответственный, он, дед, он был и годами постарше, и двое безответственных. И эти козлы увидели бордельеро и вцепились: зайдем да зайдем, сбросим давление, подлечимся от спермотоксикоза, сколько можно идти на ручных насосах! Он им: да вы что, визу закроют, партбилет отымут, а они: да кто узнает, да мы мигом, ну, раз ты ссышь, так подежурь у дверей, мимо тебя не проскочим, – он и сдался. Стоит на вахте, а их нет и нет. Он сунулся было внутрь: френдс, френдс!.. – а ему в ответ одно: тикет! Ну, купил он тикет на кровную валюту, входит – а эти козлы полуголые разлеглись среди таких же полуголых мулаток и уходить ни в какую: тут, оказывается, первый раз за полную цену, второй за половину, а дальше начинается полный коммунизм. И они как раз остановились на пороге коммунизма – кого ж из светлого будущего вытащишь! Он плюнул и решил дожидаться, пока они иссякнут, а тут какая-то мулаточка потащила его с собой – все равно, типа, уплотчено. Он лег, и сразу как из брандспойта... Но она отнеслась очень сочувственно, как родная жена...

От этих рассказов о заморской любви Андрея брала совсем уже злая тоска.

На летней практике они шли из Охотска на Магадан, море холмилось зеркальной мертвой зыбью, а по палубе лениво прогуливались два милиционера, сопровождавшие подследственного для последней очной ставки. Стеречь его было незачем, бежать здесь было некуда. Так всем казалось, покуда подследственный не махнул за борт. И даже еще погреб в сторону Сахалина, до которого оставалось миль четыреста-пятьсот. Но пока троекратно давали три положенных долгих сигнала звонками и судовым свистком, пока давали «полный назад» и спускали шлюпку, человек за бортом, как записали в судовой журнал, перестал быть виден на поверхности моря.

Да если бы его и вытащили, все равно его было бы уже не спасти от переохлаждения. Даже самым надежным местным способом: растереть и завернуть в тесном объятии с кем-то, тоже голым, в три-четыре ватника.

Иногда Андрея тоже стала посещать безумная мысль, а не махнуть ли и ему за борт, ибо жизнь явно везла его не туда, куда ему мечталось.

Однажды после учебного похода на барке «Крузенштерн», в германском девичестве «Падуя», он сидел за стопариком совершенно не нужного ему коньяка в полупустом и полутемном питерском кафе на Моховой и томился по той нежной и высокой женской душе, с которой можно было бы поделиться музыкой слов: рангоут, бушприт, фок-мачта, бизань-мачта, ватер-штаг, румпель, фор-марсель, бом-брамсель, кливер-шкот, гаф-топсель, фор-стенг#таксель, грот-брам-стенг-таксель... Рассказать, что он совершенно не боится высоты и на рее чувствует себя так же уверенно, как на ринге. Что он теперь заглянул в око урагана, – за стеной ока беснуется осатаневший воздух, а ты можешь любоваться безоблачным небом среди сшибающихся волн.

А глаза его то и дело сами собой останавливались на изящной темноволосой девушке в легком голубом платье с большим вырезом, открывавшим хрупкие ключицы, невольно указывающие направление томившей его безысходной нежности. С нею за столиком сидели два волосатика, похоже, даже крашенные – уж очень один из них был бел, а другой рыж, – и оба нагло трепались с неземным видением, явно и не догадываясь, какое счастье им выпало.

Внезапно один из них, белый, оттянул ей вырез платья и громко спросил: «А ты почему сегодня без лифчика?» Еще даже не успев ничего осознать, Андрей шагнул к наглецу и хотел отвесить ему благородную пощечину, но по рессорско-боксерской привычке так засветил ему по скуле, что тот вместе со стулом с громом и скрежетом улетел под соседний столик, сдвинув даже и его примерно на полметра. Рыжий вскочил, но, встретившись с бешеными глазами Андрея и оценив его устремленную в бой внушительную морскую фигуру, бросился поднимать приятеля, пребывающего в нокдауне, – до Андрея донеслось: сумасшедший, сдурел, но в ту минуту он защищал не свою честь.

Буфетчица засвиристела в милицейский свисток, и хрупкая фея повлекла его прочь за рукав форменки: «Бегите, бегите, вас арестуют!...». «Визу закроют!» – вспомнил он уроки своего наставника, но если бы его не торопило это неземное создание, он бы спокойно зашагал прочь, уже привычно покачивая широкими плечами.

Защищенная им защитница вовлекла его под арку в просторный сквер на Литейном, удивительно безмятежный и по-весеннему зеленый среди городского камня и асфальта, и там на гнутой белой скамейке под мраморной вазой на гранитном постаменте объяснила ему, как он был неправ. «Вы напрасно так рассердились на Шурика, он просто входил в роль Дон Жуана, а я ему объясняла, что он ее неправильно понимает. Он играет короля дискотеки, а Дон Жуан – это поиск неземной высоты, которой не могут дать обычные женщины».

Андрей никогда не слышал подобных выражений и просто обмер, с такой ирреальной точностью они выражали его чувства, столько лет томившие его, не находя не только исхода, но даже нужных слов.

И вдруг они нашлись. И произнесла их именно та, по которой столько лет изнывало его сердце.

* * *

Я так хорошо расслышал эти слова, потому что мой слух был напрямую подключен к душе Андрея. Да я бы и без этого его понимал, мне Иркин мир тоже долго казался нездешним.

* * *

А нездешний мир его феи носил имя Институт театра и еще чего-то, столь же невероятного. Однако и там была своя хозчасть, своя обыкновенность. Туда пробивались и ничемные красотки, думающие, что за длинные ноги им простят отсутствие таланта, и самолюбленные нарциссы. Мало того, что при поступлении надо читать стихи и прозу, да еще и танцевать, – могут вдруг предложить: а ну-ка, рассмешите нас! А теперь растрогайте! А теперь удивите!

Андрей только поражался, чего их туда несет, обычных людей, вроде него самого: никогда бы он никого не сумел ни рассмешить, ни растрогать, ни удивить. А ведь даже и при этом недостижимом таланте начинается муштра почище, чем на «Крузенштерне»! Учат так владеть своим телом, что позвонки трещат! Вытянутую ногу заставляют держать над зажигалкой, – Белла такого, правда, сама не видела, но ей рассказывали. Зато ей за талант прощали нехватку спортивной подготовки, она играла душой, а не телом, она голосом стремилась преодолеть тело, заставить зрителей забыть о нем.

И ее учитель, гениальный режиссер, это понимал. Андрей однажды видел, как он выходил из машины – с огромным пузом и огромным носом, на котором восседали огромные

очки, – Андрей осмотрел все эти атрибуты с таким благоговением, словно именно в них и заключался гений режиссера.

А потом тот вдруг, помимо голоса, заметил и ее тело, которое она так стремилась превзойти.

Андрей к тому времени – по особому приглашению, а не через нормальный кряинг – уже ходил под либерийским флагом третьим штурманом на балкере, по причине ветхости проданном Финляндией гамбургской компании, нанявшей в качестве сеньёров русских старпомов и стармехов, а в качестве матросни – филипков, филиппинцев, и получал больше двух тысяч евреев, из которых половину прозванивал в Питер, изнемогая не столько от ревности, сколько от тревоги за свою неземную возлюбленную.

Он не имел права на вульгарную ревность, чтобы не осквернить тот высокий мир, с которым ему каким-то чудом удалось прийти в соприкосновение. А главное, ее голос и впрямь заставлял его забыть обо всем земном – службу он только отбывал, добросовестно, но отбывал в ожидании той упоительной минуты, когда он услышит в Равенне, что гениальный режиссер вдруг открыл у нее сияющие глаза и теперь она должна играть глазами, а в Александрии обнаружит, что ей необходимо избавляться от зажатости, а в Гибралтаре скорее с изумлением, чем с ужасом расслышит в ее голосе отчаяние пополам с восторгом: мы не имеем права судить гениев, если он считает необходимым растоптать личность артиста, чтобы наполнить ее новым содержанием, значит, так тому и следует быть, нужно довериться и отдаться...

Здесь мир был окончательно забыт ради нездешнего – Андрей уже не замечал ни штормов, ни штилей, ни муссонов, ни пассатов, ни рифов, ни гольфстримов, – он жил лишь от голоса до голоса, а в памяти оставалась только грубая сталь подъемных кранов да потрескавшийся бетон причалов.

Перед Буэнос-Айресом они бесконечно ползли по Ла#Плате, а потом еще и стали колом на якоре, так что лишь чувство долга перед товарищами не позволило ему пуститься вплавь на аварийном плотике. И его окатило не только ужасом, но и блаженством, когда в ее голосе вместе с отчаянием прозвучала радость: «Это ты?.. Какое счастье!.. Я уже стояла на балконе и смотрела вниз – и тут ты меня позвал! Как Орфей Эвридику из ада».

Она больше никогда не переступит порога театра. Это мир тщеславия, зависти, пошлости, жестокости, где тебя только и стараются унижить...

– Это что, твой режиссер? Хочешь, я его убью? – он спрашивал совершенно серьезно, словно получал задание у старпома.

– Нет-нет, он гений, мы не вправе его судить, он должен питаться чужими судьбами, он иначе не умеет... Как я счастлива тебя слышать! Только твой голос мне снова открыл, что существует верность, существует любовь...

Сколько же она должна была перемучиться, чтобы усомниться в этих очевидностях! Он прямо обмер, когда увидел ее ссохшееся личико размером чуть ли не в кулачок.

И он отовсюду, откуда только мог, посылал ей свидетельства любви и верности – его голос говорил о них в тысячу раз яснее, чем его усилия зарабатывать как можно больше (он не боялся менять «шипы» и ходил уже старпомом на контейнеровозе): раз уж он не мог дать ей того высокого, без которого она задыхалась, то по крайней мере она должна была оставаться свободной от забот о низком, – свои труды он рассматривал как чрезвычайно снисходительное искупление собственной примитивности и толстокожести, он представлялся себе каким-то носорогом, до которого снизошла бабочка.

И разве имел право носорог судить бесконечно более воздушное и прелестное создание? В редкие нежные минуты, припав к его плечу, она лихорадочно шептала: какой ты сильный, какой ты благородный, любая женщина отдала бы полжизни за твою любовь, но для меня ты слишком мужчина, твои плечи, твои мускулы, твоя бычья шея – это так вле-

куще для всех, но только не для меня, для меня любовь должна быть преодолением пола, а в тебе все дышит мужским началом...

И Андрей благоговейно замирал, не смея даже и дышать.

Пожалуй, самыми счастливыми в его жизни были те минуты, когда он слышал ее голос в телефонной трубке и знал, что счастье и нежность в его голосе наконец-то пробиваются сквозь его носорожье мужское начало. И наслаждался тем, что далеко не всякий мужик (а может, и никто!) принимал бы ее искания – нет, не с пониманием, не с его носорожьей шкурой было понять ее, – с верой, что никто во всем мире не достоин ее судить.

Он всегда воровато оглядывался, не слышит ли его часом кто из подчиненных, этак весь авторитет потеряешь, как после таких серенад станешь порывивать: «Нажирайтесь, хоть хрюкайте. Но на вахте должны быть как стекло». Да еще и догадаются, что он не для себя бережет каждый еврик: лучше считаться скопидомом, чем подкаблучником. Как-то в Дакаре капитан заказал горючки до Тулона, а фирма урезала, пожмотничала. И, как положено по закону бутерброда, сначала пришлось идти против сильного ветра, так что топливо почти всё выжгли, когда на траверзе была еще только Барселона, а потом до жгли в трехдневном урагане. Капитан даже подал сигнал SOS, но берег по нынешним благородным законам запросил по контракту о помощи такие серьезные бабки, что пришлось ставить на голосование: платить придется из своего кармана. Струхнувший экипаж был уже согласен и раскошелиться, но Андрей так презрительно всех высмеял, что они готовы стали скорее лечь на грунт, чем оказать слабинку. С тем их, когда улегся ветер, пара буксиров и доставила в Барселону. А пока они там ремонтировались, Андрей не побрезговал подработать по-черному простым подметалой.

* * *

Я тоже бывал ужасно горд, рассыпая перед Ирккой рублевки, полученные за черную работу, и чем чернее, тем лучше. Но мне случалось гордиться и кое-чем еще, а моему Андрею, похоже, кроме денег, было нечем прихвастнуть перед своей богиней.

Это я понял, вновь оказавшись в ночной кухне.

Если бы не запах полыни и далекого степного пала, еле слышно струившийся из позабытой фляжки, я бы решил, что мой гость мне привиделся. Но его невероятно полновзвучный проникновенный голос продолжал звучать у меня в ушах и на следующий день, а запах, даже когда я завинтил фляжку, держался до утра, это я знаю точно, потому что у меня до первых петухов, то бишь мусорных баков, сна не было ни в одном глазу – ведь видения это же не сны! И вовсе не отчаяние не позволяло мне заснуть, наоборот – окрыляющий подъем: раз уж судьба подарила мне возможность вступить в борьбу за Иркину жизнь, я был исполнен решимости хоть бы и своей судьбой убедить три любящие пары, что ничего дороже друг друга у них нет и никогда не будет.

Поэтому впервые за десятки месяцев я не отшатывался мысленно от нашего прошлого, так ослепительно много обещавшего и так жестоко обманувшего, но перебирал его в памяти – поначалу любовно, будто первые янтарные самородочки...

* * *

На песке, тускло поблескивая, словно дюралевая ложка, лежал исцарапанный металлический буй с футбольный мяч величиной. На нем проступало слово GDANSK. Потомки, надеюсь, не поймут, сколь волшебным нам представлялся всякий предмет, проникнувший в наш мир из-за границы. Это была не наша скромная Маркизова лужа, а настоящая Балтика, распахнутая холодному норвежскому ветру. Приближался сентябрь, и я имел полное право

укрыться в одежду, но продолжал, не чуя под собою ног, в одних плавках шагать – лететь – по твердому мокрому песку навстречу ветру, испытывая наслаждение от своей силы и неуязвимости: если бы мне в лицо хлестал ливень или еще лучше снег, я бы чувствовал себя лишь еще более сильным и неустрашимым. Солнце холодно блистало с холодного синего неба, холодные сверкающие волны с мерным шумом накатывали на песок, и он, насыщаясь влагой, тоже начинал сверкать, а померкнув, открывал глазу капельки засахаренного меда – янтаря, которого я никогда прежде не видел в таких количествах, а может, и вообще никогда не видел – возможно, те немногие колечки и сережки были только пластмассовыми подделками, и в неподдельном янтаре меня пленяло именно то, что его медовая суть скрыта под обкатанной морем корявостью, и чем больше она походила на застывшую сосновую смолу, тем сильнее меня чаровала. Сначала я кидался на каждую капельку, потом стал выбирать лишь те, что покрупнее, потом еще и те, что потемнее, но и этих становилось все больше, и я уже начал колебаться, не отсыпать ли не вмещающийся в руки излишек прямо в плавки, когда передо мной развернулась какая-то грязевая река, растекшаяся по пологому склону, подобно лаве из жерла вулкана.

Я бы, конечно, никогда не ступил в грязь, но переполнявшая меня любовь к миру вдруг открыла мне, что никакая это не грязь, а всего только смесь двух самых чистых сущностей – земли и воды. И я бестрепетно присоединился к их союзу и тут же понял, что своей босою ступней ощущаю совсем не деревяшку, а что-то гораздо более интересное. Я бестрепетно погрузил руку в медленный густой поток и вытащил на холодное солнце пластину янтаря величиной с ладонь. Прополоскав ее в обжигающем прибое, я убедился, что лучшего представителя янтарного мира я бы и выдумать не мог: полированные светло– или темно-медовые изломы, смоляные натеки – мне казалось, я попал в сказку.

– Пограничный наряд, ваши документы! – Три пограничника в зеленых фуражках словно сошли с образцовой советской картины, не хватало только бдительной овчарки на поводке. Они были вежливы, но неподкупны.

Я растерянно развел руками, как бы демонстрируя, что у меня нет даже карманов, где могли бы храниться документы, и махнул рукой в обратном направлении: я-де все оставил вон там.

– Вы видели объявление – запретная зона?

– Как-то не обратил внимания...

И тут я заметил в прибрежных кустах небольшие остренькие ракеты, напоминающие памятники первым пилотам.

– Можно я это возьму? – я растерянно протянул пограничникам янтарную пластину, и старший, мгновение поколебавшись, кивнул.

Они сопроводили меня к моей одежде – рыжая ковбойка, серобуромалиновые «кетты» и зеленые, как фуражки моего конвоя, хабэшные джинсы, – попутно показав вбитый в песок метровый плакат:

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА!

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!

Но как же мне было заметить подобную мелочь, если взгляд мой был устремлен к солнцу и янтарию!

Паспорта у меня не было, был только студенческий билет, и старший, снова козырнув, предложил мне пройти с ними для выяснения личности.

С янтарной пластиной в руке и выдавшим виды тощим рюкзаком за плечами я брел под конвоем сквозь источающий смолистый дух солнечный сосняк не то чтобы в испуге, но в некоторой оторопи. Я понимал, разумеется, что меня не посадят в тюрьму, но если даже только оштрафуют – у меня же в кармане последняя треха... А может, еще и продержат под замком, покуда не убедятся, что я это я, – черт его знает, сколько это времени займет...

– Куда это вы его ведете? – девический голос звучал вполне свойски, и лесную дорогу она перекрыла своим велосипедом тоже совершенно по-хозяйски. Так что я не удивился, когда мои сержанты и старшины, откозыряв, принялись чуть ли не оправдываться: карьер, запретная зона, паспорта нету...

– Так он же ко мне приехал! – она не упрекала, она разъясняла недоразумение, ладненькая, крепенькая, в линиях блуджинсиках и облегающей футболке в белую и синюю полосу, заметно пошире, чем на матросской тельняшке, с растрепанной каштановой стрижкой и тем носиком, который в советских романах именовался задорным. – А это у тебя что, янтарь? Да у нас таким на даче дорожки мостят! В общем, ребята, я беру его у вас на поруки.

А через пять минут я уже вез свою спасительницу на раме к местам ее детских игр, вдыхая солнечный запах щекочущих волос (в лесу было почти жарко).

– Пограничники – они что, твои знакомые? – спросил я, стараясь не пыхтеть (песчаная дорога пошла в горку).

– Пограничники? Я их первый раз вижу.

Видеть в каждом встречном друга – в этом заключалось и счастье ее, и несчастье.

Нас затрясло на булыжной кольчуге, могучие деревья вдоль старинного шоссе были подпоясаны широкой белой полосой.

– Это немецкие липы, – требуя почтительного отношения, указала Ирка – она знала по имени каждое дерево в любом лесу. – А вот наша развалка.

Среди прошитого пожухлой травой кирпичного крошева высились звонкие готические зубцы, с которых Ирка, единственная из девчонок, решалась прыгать на единственный расчищенный пятачок (я прикинул, что и сам бы отважился на такое не вдруг). Играть в развалках, разумеется, строжайше воспрещалось: они могли и завалиться окончательно, и кишели ржавыми гранатами – мальчишки то и дело оставались без пальцев или без глаз, хотя погибали почему-то редко, – но Ирку судьба берегла для меня в целостности. Она очень жалела, что не может показать мне подземелье – власти все входы забетонировали, – а то можно было под тамошними кирпичными сводами добраться чуть ли не до самого Кенигсберга, они и забирались черт-те куда в поисках Янтарной комнаты. И колодец тоже забетонировали, а то бы мы посостязались, кто дольше провисит на счет над двадцатиметровой бездной на переброшенной через жерло ржавой трубе. Когда в шестилетнем возрасте папа застал ее за этим занятием, его чуть не разбил паралич – он не мог тронуться с места и потом до конца своих дней страдал невротическим радикулитом.

Хотя колодец вроде бы подходил папе по профилю, ибо высверлен он был как будто для неких ирригационных нужд – Ирка толком не знала. Немцы при отступлении взорвали какие-то шлюзы, ее папу-гидротехника и направили сюда после Ленинградского политеха заниматься осушением затопленных низин. Восточную Пруссию заселяли только нужными специалистами, поэтому Ирка выросла в удивительном мире, где не было шпаны, где – просто заповедник, если не зоосад! – было некого бояться. И солдаты из соседнего военного городка вели себя на диво благопристойно – маршировали с песней и скрывались за кирпичной оградой, – Ирка многие годы совершенно буквально воспринимала песню «Когда поют солдаты, спокойно дети спят».

Еще она показала мне взорванный мост – вздыбленный бетон, взывающий к небесам, заламывающий скрученные рельсы, по которым тоже было до жути увлекательно карабкаться, – показала и заматерелые яблони, на скрюченных лапах которых всегда можно было

очень уютно разместиться. А вот показать немецкое кладбище ей уже не удалось – его снесли совсем недавно, и особенно жалко было надгробия генерала фон Фока, чугунной пирамиды, на которую тоже не каждому удавалось с разбега докарабкаться до самой вершины. Зато противотанковый ров с перекинутой через него, вросшей в оба берега ржавой швеллерной балкой зиял на прежнем месте. Перед этой балкой уже и самой Ирке приходилось пасовать: у них только один мальчишка, разогнавшись, ухитрился перелететь по ней ров на велике.

Не мог же я уступить этому мальчишке!

Ирка пыталась меня удерживать, но лишь раззадорила. Ров, хотя и подзаплывший, был достаточно глубок, чтобы сломать шею, но Иркина колдовская власть над моей душой уже начала набирать силу: когда она была рядом, мне десятилетиями казалось, что я бессмертен и неуязвим. Я разогнался с бугорка и, вполне возможно, проскочил бы, но заднее колесо самую малость занесло в песке, я машинально тормознул, тоже слегка, но этой доли секунды хватило на то, чтобы переднее колесо вильнуло не на берегу, а еще над пустотой. Я успел извернуться и упал грудью на балку (черная полоса не сходила недели три, а вдохнуть полной грудью я не мог и того дольше), но чем мне удалось смыть свой позор – я, будто крючком, стопую левой ноги успел подцепить велосипед за раму и выбрался на спасительный мох вместе с ним, Ирка даже ахнуть не успела.

Правда, потом оказалось, что спасла меня она именно тем, что вовремя ахнула, только про себя, зажав рот ладошкой: она вполне серьезно до последних дней верила, что любовь может спасти от смерти. Однако она не сумела спасти нас даже от безобразия...

Известно, что женщины вдохновляют нас на великие дела, но мешают их совершить. Мне кажется, именно благодаря Ирке – не «из-за», а именно «благодаря» – я не достиг тех высот в своем деле, о которых когда-то грезил: она подарила мне счастье, а счастливым незачем еще куда-то карабкаться. Для меня это звучало когда-то неодолимым призывом: ДЕЛЮ ЖИЗНИ! А Ирка открыла мне, что жизнь и сама по себе уже есть дело, а главная ее драгоценность – беззаботность. Я мечтал когда-то прослушать весь мир – как звучит космос, как звучит океан, как звучит степь, пепельница, дерево, платяной шкаф, но тугоухость счастья не позволила мне расслышать более прочих. Я, конечно, уважаемый человек в своем мирке, да только мирок мой не слишком уважаемый. Может быть, именно поэтому мои дети больше похожи на свое время, чем на меня: три сына, и хоть бы один дурак. Менеджер по кадрам, менеджер по связям, менеджер по продажам, все прочно стоят на своих ногах, при необходимости наступая и на чужие, но без этого в наше время не проживешь, и жены у них прочно стоят каждая на своих ногах, а вот мы с Иркой как-то всю жизнь простояли на общих – я и сейчас не знаю, где у меня мои ноги, а где Иркины.

На чьих ногах будут стоять мои внуки и внучки, пока сказать трудно, но, похоже, тоже на своих. Помню, в одну особенно сумасшедшую ночь Ирка прошептала мне зачарованно: какие у нас должны быть удивительные дети, ведь у нас такая великая любовь!.. Но оказалось, великая любовь не любит делиться, и наши дети, боюсь, как-то почувствовали, что нам и без них хорошо. Нет, не Ирке, это мне для счастья было довольно ее одной: мальчишкам своим я всегда был самым старательным папашей, всякая их беда причиняла мне невыносимую боль, но когда у них все было хорошо, я легко мог о них забыть. А вот об Ирке никогда.

Более того, Ирку-женщину я просто любил, но перед Иркой-матерью я преклонялся – перед чудом преображения свойской девчонки в трепетную маму, выпрыгивающую из постели по первому шороху своего дитяти, готовую питать его и впрямь едва ли не кровью собственного сердца. Уж сколько бессонных ночей она провела по больницам, именно что склоняясь к изголовью до судорог в пояснице. И даже когда наши самостоятельные сыновья приходили к нам на обед со своими самостоятельными женами и воспитанными детками, более всего меня трогала по-прежнему моя Ирка, в чьем голосе немедленно начинали звучать растерянные искательные нотки только что обзаведшейся котятками мамы-кошки.

Но что было особенным чудом из чудес – при всем своем могучем влечении к обихаживанию собственного гнезда Ирка обладала счастливой и вместе несчастной склонностью постоянно расширять его пределы. Если ей поручали подмести пол, она тут же начинала сама вязать веники, растить и резать прутья, и так далее, – покуда наконец не набредала на какое-то выгодное дело, где уже наталкивалась на сопротивление серьезных людей. Сначала она не могла поверить, что ее теснят исключительно корысти ради, пыталась отыскать у своих гонителей какие-то высокие мотивы, затем впадала в отчаяние, а затем – затем снова с упоением ныряла в какое-нибудь новое занятие, серьезным людям до поры до времени еще не интересующее.

Но даже средь бездн отчаяния довольно было призвать на головы ее притеснителей какие-нибудь ужасные кары, как она пугалась и тут же начинала лихорадочно выискивать для них оправдания – так она верила в силу не только любящего, но и проклинаящего слова. А еще через пару-тройку месяцев кто-то из ее преследователей как ни в чем не бывало звонил ей с какой-нибудь просьбой, и она непременно шла навстречу, лишь восхищенно тряхнув своей каштановой стрижкой: ну наглец!..

К этому времени она уже успевала обжиться на заранее неподготовленных позициях и, как всякий счастливый человек, не нуждалась в мести. Мне и пожалеть ее толком не удавалось. Скажешь ей сострадательно: «Какая ты бледненькая!..» – и она тут же начнет трагически закатывать глаза, заламывать руки, а потом еще месяц будет подходить к зеркалу и сокрушаться: бледненькая я какая, не знаю, что и делать!

Между нами говоря, я и впрямь никогда не мог проникнуться к ней серьезным состраданием – слишком уж несокрушимо жила во мне уверенность, что если она всерьез пожелает, то и львы, и гиены послушно лягут к ее ногам.

Только *в наше время* она наконец забралась в какие-то выси или расселины, откуда не было обратного хода на заранее неподготовленные позиции. Что, где, куда, откуда? «Лучше тебе не знать», – на все был один ответ. Настолько лишенный всегдашнего ее желания хоть чуточку подурачиться, что я уже не смел спрашивать дальше. Я лишь призывал ее спуститься с безвоздушных высот, выбраться из темных щелей – проживем как-нибудь и на равнине, на свету. «Все не так просто», – роняла она настолько серьезно и не похоже на себя, что любые мои изъявления преданности вмиг оборачивались лицемерными ужимками.

«Так что, все действительно так страшно?» – наконец решился я спросить, мертвея, и она отвечала тоже внезапно мертвеющим голосом: «Не так страшно, как стыдно». И у меня отваливалась глыба с души: стыд не дым, глаза не съест.

Ирку, однако, он съедал на глазах. Счастье ее и несчастье заключалось в том, что она с беззаветностью пятиклассницы верила в детские сказки – ну, что единожды солгавший обязан застрелиться, и всякое тому подобное, – так что я далеко не уверен, что она столь уж глубоко погрузилась в пучину порока, – но она-то была убеждена, что ей более нет места среди порядочных людей! И хуже всего или лучше всего было то, что именно за эту ее детскую доверчивость я больше всего ее и любил.

Ввязалась она, как всегда, в благородное и никчемное дело – хижины для бедных, очаги для влюбленных, кому выпала судьба вскармливать детенышей под кустом, как нам с нею когда-то. Но почему, когда в грудях перерытого ею песка замерцали искорки золота, ее не отодвинули, как это всегда бывало, а наоборот, вцепились мертвой хваткой, – одному дьяволу известно. Я уже и не задавал вопросов, зная, что услышу только стон: «Ну за что, за что ты меня мучаешь?!»

Поскольку никакой исход впереди не брезжил, Ирка начала искать забвения, и я довольно долго с радостью шел ей навстречу. Наши вечера даже сделались еще более приятными – то мы дегустировали неиспробованные сорта сидра или пышные имена коктейлей,

то посвящали вечер какому-нибудь валлонскому пиву или нормандскому кальвадосу, испытывая дополнительное удовольствие, что подобные роскошества нам по карману. Мир виски тоже был разнообразен до неисчерпаемости, не говоря уже о вселенной вин – нас забавляло, что эти напитки герцогов и мушкетеров, все эти бургундские и анжуйские всегда готовы по первому слову излиться в наши бокалы пацана и пацанки из советского захолустья, – оставаясь вдвоем, мы разом обращались друг для друга в тех юнцов, какими предстали друг другу когда-то на лесной дороге к погранзаставе.

Это было одним из самых сладостных наших времяпрепровождений – предаваться воспоминаниям о нашей упоительной нищете сначала под кустом, потом в Свиной балке, где ленинградские хитрецы на городской полуокраине придумали откармливать изрядное свинаячье поголовье, изводя вонью окрестное население, – зато цены на тамошние конурки сделались по карману даже таким голодранцам, как мы с Ирккой. Для нас все тогда становилось поводом посмеяться – а теперь еще и растрогаться: вспомнить, скажем, как к негодованию окрестных свиначков Ирка перетаскивала меня на себе через оборонительную лужу, запирающую вход в Свиную балку всяческим соглядатаям, – резиновые сапожки были только у нее, а таскать рюкзачищи в походах она умела чуть ли не наравне с мужиками, хотя сложения была не атлетического, но всего лишь спортивного. А в какой мы купались роскоши, когда Ирка могла вдруг устроить вечер с икрой и шампанским, зная, что завтра не хватит на хлеб! Каким-то чудом Ирка внушила мне свою уверенность: будет день – будет и пища.

Когда я разглядывал Ирку сквозь бокал с шампанским, вино представлялось мне насыщенным воздушными пузырьками янтарем, а Ирка какой-то смесью их обоих – легко вскипала и тут же опадала в смех, и была такой же солнечной и прозрачной, как та моя добытая из грязи пластина, матовую поверхность которой я не поленился отшлифовать сначала шкуркой, а после зубной пастой. Теперь и янтарная пластина казалась мне пронизанным пузырьками воздуха застывшим солнечным светом, единственным земным пятнышком в котором была замершая в полете мушка – Иркина ребячливость. Только к самым краям пластины начинал сгущаться туман, как будто в шампанское с двух сторон вылили топленое молоко.

Моя привязанность к янтарной реликвии явно трогала Ирку, хоть она и подтрунивала, что после войны таким янтарем у них в городке топили печи. А я отвечал, что она так и не освободилась от своего янтарного происхождения: стоит ее потереть, и к ней тут же липнет всякий мусор. Наша дворничиха – для кого Татьяна, для кого Танька, и только для Ирки Татьяна Руслановна – во время запоев трезвонила исключительно в нашу дверь, – привадить ее Ирка сумела, а отвадить уже не могла, только умоляла через дверь: Татьяна Руслановна, мне же не жалко, но вы себя губите, давайте я вам дам денег на лечение, но Танька – страшная, опухшая, охваченная фиолетовыми протуберанцами слипшихся завитков, – понимала лишь одно: ее не гонят, значит, есть шанс.

Когда она запивала, то целыми днями, зимой и летом опираясь на лыжную палку, бродила по двору и по подъездам, а к ней, словно гиены, из каких-то нор стекались еще более страшные зловонные бомжихи и начинали водить вокруг нее загадочные хороводы. А однажды медлительная, словно водолаз, раздувшаяся, как утопленник, баба вдруг вцепилась сзади в Танькины слипшиеся протуберанцы и начала драть их что есть мочи. На что Танька лишь недовольно мычала: ну кончай, ну хватит, ну ладно...

А потом запой спадал, подобно цунами, и Танька, повязавшись платком по моде двадцатых, начинала энергично мести двор, гоняя голубей и алкашей.

Бог ты мой, мог ли я усмотреть в нелепой Таньке предвестие Иркиного будущего! Потихоньку-полегоньку в наших воспоминаниях она начала заходить чересчур далеко, умиляться до слез, и когда до меня дошло, что это *пьяные слезы*, я стал уклоняться от трогательных погружений в канувшее, пытался переключиться на что-нибудь бодрящее – какие у нас самостоятельные и *успешные* сыновья, каким чудесам света мы поедем дивиться в близя-

щиеся недели отпуска, однако не тут-то было, ее никак не удавалось переключить ни на что, по поводу чего нельзя было бы пустить слезу. Да, да, эта ее пьяная слезливость уже начала меня раздражать до такой степени, что я иной раз мысленно употреблял именно такие выражения: *пьяная слезливость, пустить слезу...*

Употреблял пока еще только мысленно. Но если я слишком заметно пытался перевести разговор на что-нибудь более бодрящее, она впадала в патетическую скорбь: я понимаю, тебе неинтересно наше прошлое, я тебе надоела, я тебя понимаю, я сама себе противна, — так что лучше уж было неиссякаемое струение слез по поводу Свиной балки, где мы были так счастливы, чем мраморная неподвижность, прерываемая лишь на то, чтобы нетвердой, отнюдь не мраморной рукой налить и опорожнить еще одну стопку, еще одну рюмку, еще один бокал...

У меня ведь когда-то дух захватывало от нежности, когда она любую ласку немедленно переводила в озорство. Погладит, скажем, меня по голове и тут же отвернет ухо проверить, не выросли ль на его изнанке бесконтрольные волоски: «Безобразие, ты уже месяц ходишь неоципанный!» А в последние месяцы (или годы? да, конечно, годы) придет, бывало, в умиление, да так и замрет с обмякшей рукой у меня на голове, и не знаешь, забыла она про тебя и можно уже высвободиться или надо терпеть, покуда она окончательно не размякнет.

* * *

Когда я не пересказывал Орфею (я не смел сомневаться в его имени, чтобы не убить Ирку окончательно), а перебирал нашу историю для себя самого, мне уже не открывалось в ней ничего особенно ослепительного: да, было трогательное, было радостное, было грустное — всё как у всех. И только присутствие этого удивительного слушателя, подобно философскому камню, обращало наше прошлое в восхитительную сказку. Даже Иркино пьянство становилось пусть страшной, но все-таки сказкой, а не историей болезни, историей погружения в тупость и грязь. Зато когда Орфей покинул меня, опьянение ушло вслед за ним, а воскрепленный рассудок остался, и я сразу же перестал понимать, какую такую поэзию я ухитрился высмотреть в стареющей тетке, которая от бессонницы выходит подышать ночной свежестью и полюбоваться воздушной громадой Александринки и электрической стройностью улицы Росси и возвращается с фингалом во всю щеку: сначала приложила к стаканчику виски в какой-то ночной забегаловке, а потом к косяку в подъезде.

Слава богу, в последние годы у нас были разные спальни, но я все равно часами не мог заснуть, прислушиваясь через дверь, как она что-то бормочет, с кем-то объясняется, может быть даже со мной, но мне был так мерзок ее заплетающийся язык, ее пьяный пафос, что я сам бежал прочь из дому и бродил по улицам либо сидел в каком-нибудь шалмане, покуда не приходило милосердное отупение. Тогда я решался вернуться домой и обычно мне сопутствовала удача: она уже отрубилась и будет отсыпаться до вечера. Но иногда я заставлял ее валяющейся в кухне среди разгроханной посуды, часто в крови из рассеченного локтя или лба, иногда у сортира в задранной выше задницы рубашке, а изредка она и засыпала прямо на унитазе, не считая нужным хотя бы затвориться — а, чего там!..

Пять лет назад я бы отдал голову на отсечение, что ничего подобного... Да я бы и обсуждать не стал подобный бред. И даже когда этот бред начал повторяться через два дня на третий, ко мне уже к вечеру второго приходила уверенность, что все это мне приснилось. И даже когда этот страшный сон стал занимать больше места, чем явь, все равно одного ее искательного взгляда, одной ее затравленной улыбки было достаточно, чтобы я все забыл и уверился, что весь этот кошмар теперь-то уж точно остался позади. И ненависть, омерзение сменялись невыносимой жалостью — пьяная баба с бесстыдно задранным подолом превращалась в маленькую беспомощную девочку в задравшейся рубашонке. А жалость сме-

нялась заоблачным счастьем, что все эти ужасы наконец-то позади и мы теперь снова всегда будем вместе.

Затеревши синяки, желтяки и зеленяки «телесным» гримом, делающим ее неотличимой от подержанного покойника, для которого служба хорошего настроения сделала все, что смогла (какие это мелочи, когда знаешь, что видишь их в последний раз!), моя Эвридика начинала новую жизнь с таким размахом, словно хотела возместить все упущенные радости. Прежде всего она закупала несколько тонн баранины, телятины, семги, белуги, севрюги, груш, яблок, винограда, смоквы, хурмы, зелени и овощей (огромными пластиковыми мешками зафрахтованный шофер заваливал половину нашей немаленькой кухни), дабы отпраздновать возвращение к жизни с самыми любимыми друзьями, чьей дружбой она гордилась не менее, чем соседством с Александринским театром, Фонтанкой и улицей Росси. Именно ради каждого из них в отдельности она закупала любимые сорта скотч и айриш виски и расшибалась в лепешку, дабы к их приходу изрубить, изжарить, испарить, протушить и сварить ровно четыреста тринадцать блюд, каждого из которых было бы довольно, чтобы прославить ее имя как лучшего кулинара нашей компании и всех ее окрестностей.

Но что особенно ей удавалось – пышнейшие пироги из белых сушеных грибов, которые нужно было размачивать за сутки, а заготавливать с лета. Прежде, когда были победнее, мы наслаждались лесными заготовками сами, а в последние годы Ирка целыми клетчатými сумками закупала эту труху у какого-то одичавшего интеллигента в перекошенных очках над перекошенной полустеснительной-полублаженной улыбкой. «Ты не боишься, что однажды он засушит тебе поганок», – время от времени интересовался я, и она немедленно принимала торжественный вид: «Как тебе такое приходит в голову? Сразу же видно, что он порядочный человек!»

– Но он же чокнутый...

– Не настолько же он чокнутый, чтобы белый от поганки не отличить!

Ирка вкладывала в это искупительное пиршество столько души, что по мере приближения торжественной минуты испытывала потребность все чаще и чаще выйти подышать и в итоге встречала долгожданных гостей, едва ворочая языком и с трудом сохраняя равновесие. Наши деликатнейшие друзья и даже их жены с напряженными улыбками выслушивали ее неразборчивые речи о том, как она их всех любит и какая для нее честь их посещение, а когда огромная фарфоровая миска с салатом разлеталась вдребезги, все бросались кто прибирать осколки и протирать изгаженный пол, кто доставать из духовки обуглившееся мясо в горшочках, но самое невыносимо стыдное заключалось в том, что Ирка никак не позволяла усадить себя в кресло, а, мыча, рвалась в бой, как классический бузотер в вытрезвителе.

Гости быстро вспоминали о срочных делах, Ирка засыпала в кресле, всхрипывая и пуская слюни, я, изнемогая от позора, относил переведенные продукты на помойку, а вернувшись, обнаруживал супругу уже на полу рядом с ополовиненной бутылкой скотча или айриша.

(Еще давно, при возрождении нашего благосостояния Ирка приобрела изящный итальянский столик на колесиках – и однажды ночью рухнула на него так удачно, что разнесла в щепки, – не для нашей широкой души их ренессансная утонченность. Дубовый белорусский держался дольше; собственно, ей и отломать удалось лишь одно колесико от его монументальности, но я его все равно выволок на помойку – уж очень тошно было видеть этого атлета скособоченным.)

В последний год, правда, стало немного легче: на Иркины приглашения наши друзья начали рассыпаться в сожалениях, что именно в это воскресенье прийти не могут. И в следующее, увы, тоже. А на субботу супруга сама никого не приглашала, ибо отсыпалась после пятничного запоя.

Но даже и в эти месяцы одной ее жалкой улыбки было достаточно, чтобы я все забыл и все простил. А взлет счастья и благодарности, что она вновь ко мне вернулась, в тот миг, казалось, искупал все. Я увлекал ее в какие-нибудь волшебные края – и так упоительно было после дождливой балтийской зимы оказаться на сверкающем зеркале Нила, побродить в могучем каменном бору Карнака, посидеть у подножия исполинских пирамид перед не желающим нас замечать каменным Сфинксом, наслаждаясь более всего Иркиной детской радостью: а я-то думала, никогда пирамиды выше фон Фока не увижу, ну скажи, скажи, могли мы подумать в Свиной балке, что когда-нибудь будем здесь сидеть?!

Для меня же это был суший пустяк в сравнении с тем чудом, что судьба вновь вернула мне прежнюю Ирку.

А на грузовом итальянском ковчеге с экипажем филиппинцев, кланяющихся каким-то спортивным нырком, подавая тебе блюдо в кают-компании (а какой там был крепчайший кофе на камбузе в любое время дня и ночи!), мы бродили зигзагами по всему Средиземноморью, спускаясь на берег по рифленным стальным сходням вместе с рычащими корейскими автомобилями то в гриновской Каподистрии, где нам было не скучно битый час любоваться сияющим водяным ежом прибрежного фонтана, то в бетонно-коробчатом Пирее, в котором не осталось ни зернышка магии, кроме имени, то в раскаленном Ашдоде, где у нас над ухом с оглушительным звоном лопнула палестинская ракета, – но мы бы могли и вовсе никуда не сходить, а так и стоять рука к руке на баке, или как там его, лицом к теплому ветру, околдовываясь бескрайней гладью, из которой, к Иркиному восторгу, время от времени то выпрыгивали дельфины, тугие и толстые, как чайная колбаса, то медленно вырастали из моря до небес розовые и пустынные не то Спорады, не то Киклады.

А потом мы снова возвращались в постыдный ад нормальной жизни, и на ее щеках снова начинали разгораться прыщи, как будто не зеленый змий, а какой-то гнойный червь погружал в нее свои зубы. Однако лишь последний всплеск кошмара открыл мне, что той Ирки, которую я так любил, больше нет.

Хотя именно она погнала меня к врачу, когда в моем голосе появилась пленительная хрипотца под Высоцкого: «Мне кажется, что с этим новым голосом ты уже не ты». Я согласился, потому что и глотать стало больновато. И заподозрили – что бы вы думали? – да, да, то самое. Всемирное пугало. А в тот день, когда я сидел в больничном коридоре, ожидая окончательного приговора, мне на мобильник позвонила, не выдержав напряжения, замученная Ирка. Я собрал в кулак все свое деланое безразличие, чтобы ее хоть немножко успокоить, – и услышал в трубке пьяный смех: «Я спылю... И нны рыбботту не ппышшла...» Это же так смешно – спать в четыре часа дня. И забыть, что у обожаемого супруга в эти часы решается судьба – жить ему или умереть.

Тогда-то я и решил – холодно, без всякой Достоевщины – с нею расстаться.

И сейчас, средь бесконечной безумной ночи, выискивая в памяти все эти картины, я вновь с ледяной решимостью убедился, что был прав. И никакие трубки в черных дырах ноздрей, никакие намертво стиснутые веки не в силах отменить этого непреложного факта: существо, которое было способно мычать и смеяться, когда я сидел у эшафота, не могло и на смертном одре снова превратиться в ту Ирку, с которой мы целые десятилетия составляли единое мироздание.

Орфей, ответь мне, если ты меня слышишь: ведь ты пытался вырвать у адских сил ту Эвридику, которую любил, а мне предлагаешь спасти другую женщину, с которой у моей Ирки уже давно нет ничего общего, кроме имени!

И у моего исчезнувшего гостя не нашлось ни единого возражения. Одно только эхо его удивительного голоса отозвалось под сводами моей души, и – о чудо! – она из ледяного слитка немедленно обратилась в горячее перламутровое облачко, и янтарно-помойная история нашей любви вновь предстала предо мною сказочно прекрасной.

Хотя даже самому Орфею было бы не воспеть мои последние поползновения сделаться холодным деловым человеком.

Со стиснутыми челюстями добравшись по асфальтовому крошеву под замызанной аркой до гибкой блондинки, чье сочувствие ко мне отеснялось ее наслаждением от собственной дальновидности, я узнал, что если моя жена не пожелает пойти на развод, то мне придется тащить ее к мировому судье (адрес неизвестен). А если она пойти не захочет, ее вызовут повесткой. А если она не откроет почтальону дверь, то в эту минуту я должен быть дома и открыть сам. И заставить ее расписаться на повестке. А если она откажется, я должен буду составить протокол об ее отказе и подписать его у двух понятых (понятых желательно постоянно держать при себе). Одновременно нужно следить, чтобы за это время моя жена не потеряла паспорт или свидетельство о браке, ибо свидетельство могу восстановить и я («Вы не помните, где вы регистрировались?.. Это хуже»), а паспорт должна восстанавливать она сама.

То есть если она захочет, то сможет саботировать процесс до бесконечности? Хотя бы уходя в запой. И что тогда? Тогда, – девушка улыбнулась доверительно, не хуже Ирки в давно утраченные годы, – тогда вам остается ждать, когда она выпьет паленой водки... «Но я вам этого не говорила. Хотя, бывает, непьющие супруги сами угощают пьющих какими-нибудь такими-этакими напитками – ну, вы меня поняли».

Я ее понял, и меня обдало холодом. Случалось, не то из-за стыда, не то из-за страха (да этот страх и был стыдом) Ирка иной раз, напившись, ночевала где-нибудь в гостинице, и тогда я до утра не находил себе места уже не от ненависти и омерзения, а от тревоги за нее, и когда она на следующий день наконец прорезывалась по телефону, в первый миг у меня гора сваливалась с плеч – чтобы в следующий миг навалиться обратно. Но – после этого столкновения со стеной закона ощущение беспомощности перед нею обратило мою холодную решимость в огненную ненависть. И когда, держась за стену, мерзкое растрепанное существо провлачило к себе в спальню и рухнуло мимо кровати, я достал свою священную янтарную пластину и по какому-то наитию начал рассматривать ее на просвет через лупу. И ничуть не удивился, что черненькая мушка оказалась клещом.

После чего я сжег разоблаченную святыню на газовой плите железной рукой. Сначала молочный край закипел и начал ронять на белую эмаль черные слезы рядом с моими, прозрачными (я не ее оплакивал, себя), а затем вспыхнул по краям таким стремительным белым пламенем, что мне пришлось разжать обожженные пальцы, и далее, испуская запах соснового костра, сворачивающийся в тоненькую черную нить янтарь горел белым пламенем на темной конфорке, покуда не превратился в жирно поблескивающую съезжившуюся головешку. Рассыпавшуюся невесомым порошком, когда я попытался взять ее плоскогубцами. Я по старался вдохнуть как можно глубже, чтобы запомнить этот запах погребального костра, – и так страшно закашлялся, что черная пудра разлетелась по всей кухне. А вместе с нею рассеялись остатки моей жалости и сомнений.

И пепел по ветру развеял...

На следующее утро моя бывшая любовь вышла из спальни с войлочным колтуном на виске, опухшая и пристыженная, и я пошел ва#банк крапленой картой.

Я был в юридической консультации, и мне сказали, что раз у нас нет несовершеннолетних детей, то нас обязаны развести. И если мы это сделаем по доброму согласию, то у нас останется хотя бы что-то неоплеванное, а если нет, будем разговаривать через адвоката.

– Не надо адвоката!.. – она вперила в меня умоляющий взгляд, но я помнил, что жалость меня погубит.

– Хорошо, значит завтра же подаем заявление. – Куй железо, пока молот тверд.

– Как скажешь...

Я отвернулся, чтобы не видеть этого взгляда побитой собачонки из-под запухших век, и ушел к себе. Я слышал, как она мыла посуду (любая ее хозяйственная возня всегда приводила меня в умиление, но сейчас я неумолимо читал себе вслух статью о подземной акустике), а потом робко постучала ко мне: их бухгалтерия для какой-то отчетности требует предъявить мой паспорт и свидетельство о браке.

Я протянул свой паспорт холодно, как в поезде, и она, робко попрощавшись, медленно-медленно, чтобы не стукнуть, притворила за собою дверь.

Не выйдет взять меня на жалость, я знаю, чем мне придется платить за минуту слабости.

Но такой расплаты я все-таки не ждал.

Когда вечером я обнаружил ее в любимом кресле в любимой свесившейся позе с отвисшими губами и косо свалившейся на грудь головой, у меня сразу екнуло сердце. Паспорт!.. Брачное свидетельство!!

– Алё, алё, где мой паспорт? – я тряс ее за плечо без всяких церемоний.

– Чи... Ччито?..

– Где мой паспорт, пьяная свинья? – я произнес это оскорбление с почти нежной проникновенностью.

– Ччево?.. Нне ппыннимыю...

Я вытряхнул на стол ее сумочку – загремели ключи, пудреницы, прочая вечно меня умилявшая мелюзга, – паспорта нету... Свидетельства тем более.

Я наклонился к ней и залепил ей продуманную пощечину, а затем принялся с наслаждением хлестать ее по прыщам: «Где мой паспорт, тварь, где паспорт, гадина, где паспорт, сволочь?..» Я хлестал ее не в яростном самозабвении, но в полном самообладании, не торопясь, со вкусом, покуда не заныла поясница от неудобной позы. Она не сопротивлялась, только приговаривала: «Ппырраввиьлна, ппырраввиьлна...» – и пыталась ловить и целовать то одну, то другую мою руку.

Я ушел к себе и лег на постель, не сняв даже тапок, стараясь не понимать, что происходит.

Робкий стук. Заглянула румяная, как с мороза, даже прыщи слегка померкли. Язык уже заплетается поменьше, я ее немножко отрезвил.

– Мынне пыдаррили этыт кырвыазье. Кыньяк. Кыллега приехал из Фрынции.

Она пыталась улыбаться, словно ничего особенного не произошло, и лед моей ненависти вскипел коктейлем Молотова. Но заговорил я еще нежнее прежнего:

– Когда в следующий раз тебе подарят бутылку – с коньяком, с пивом, с квасом, с рассольником, ты ее возьми и расшиби этому гаду об башку. Они что, не знают, что алкоголикам нельзя дарить спиртное?

Ирка поспешно прикрыла дверь, забыв, где кончается ее голова, прихлопнула себе порывевшую крашеную стрижку. Попыталась искательно рассмеяться, но я произнес по слогам, собрав все свои неистраченные за последние годы запасы нежности:

– Ис. Чез. Ни.

Я старался не понимать, что тоже превратился в чудовище.

Закурлыкал телефон. Звонила ее подруга по странной работе Алка Волохонская. С Ириной пора что-то делать. Сегодня ей нужно было забросить одному человечку порцию налички, немного, тысяч триста. И моя супруга заснула прямо головой на груди банковских пачек.

– Конечно, надо что-то делать. Только я не знаю, что. О лечении, о подшивке она и слышать не хочет. Нужно сначала сделать мир моральным, а тогда уже у нее не будет причин пить. Кстати, хоть это и мелочь, какого черта ей все время дарят бухло?

– Да ты что, какое бухло, у нее уже и на корпоративах рюмку отнимают. Я даже, пардон, сама не понимаю, почему ее еще не уволили.

– Я тоже удивляюсь. Она и у меня сегодня паспорт потеряла.

– Как потеряла, он же у меня?..

– Как у тебя, откуда?..

– Так она же мне и отдала.

– И брачное свидетельство тоже?

– И брачное свидетельство тоже.

Чутьочку устыдившись, я отправился на кухню, откуда доносился грём кастрюль – в подпитии ее часто охватывает хозяйственный зуд. Правда, обычно не в столь сильном.

Воздух отсырел от грибного духа – покачиваясь над газовой плитой, она дула на ложку с грибным супом. На столе валялась сплюснутая сосиска в тесте – в подпитии, опять же, она любила закупать нищенские закуски нашей общей юности: готовые холодцы, винегреты, селедку под шубой, варенные колбасы... Теперь вот где-то откопала сосиску в тесте.

– Извини, пожалуйста, – как можно тише, чтобы не прорвалось отвлечение, выговорил я. – Паспорт нашелся, он у Аллы Волохонской.

– Кыкой пыспырт?.. – она была целиком погружена в грибной суп.

И я пожалел, что снова размяк.

Потом она нажралась окончательно, и даже через дверь было слышно, как ее каскадами выворачивало в сортире, – запирает дверь – к чему такие буржуазные условности!.. В теплой постели я леденел от ненависти. Леденел, леденел, покуда не очутился на горячем солнечном берегу, и только от прибоя тянуло ледком. Но меня это нисколько не смущало, потому что на границе этого прибоя была зарыта янтарная комната: когда волна откатывалась, нужно было в сверкающей полосе, пока она не успела померкнуть, стремительно выкапывать фигурку за фигуркой. Собственно, это были шахматные фигурки из темно-медового янтаря, только разогретого до текучести сосновой смолы в жаркий день и закрученного в самые причудливые узлы. И эти узлы, чистенькие, как та же лесная смола, я один за другим подавал Ирке, которая каждый раз радостно вскрикивала: «Ах! Ах!». Притом все чаще: ах, ах, ахахахахахаха...

Кажется, я от удивления и проснулся. Это была даже не икота, а изумленные возгласы в себя. Но люди не изумляются так безостановочно, особенно такой глухой ночью, которая ощущалась даже в мертвом безмолвии за окном. Сонную очумелость с меня смыло, как ведром ледяной воды. Я распахнул дверь в Иркину спальню и без церемоний включил свет. Из-под свалившейся, закрывшей половину лица рыжей стрижки ввалившиеся щеки выглядели мертвой белизной, словно незагорелая кожа из-под плавок. Ирка безостановочно вскрикивала в себя, а потом ее чуть ли не на минуту стянула судорога, она перевесилась с кровати и долго вымученно мычала, но так ничего из себя и не выдавила, кроме новой волны пропитавшего комнату пронзительного запаха грибного супа.

– Что ты... – «пила?» – хотел спросить я (паленая водка, пронеслось у меня в голове), но вместо этого по какому-то наитию выкрикнул: – Ела?!

– Поганки, – еле слышно простонала Ирка, когда спазм наконец отпустил ее. – Запаслась... на черный день.

* * *

Когда я вынырнул из последней волны грибного духа на собственную предутреннюю кухню, я снова уже не испытывал ничего, кроме ужаса и ошеломления, и не знаю, что бы со мною случилось, если бы моему бессильному стону откуда-то издалека-издалека не откликнулся эхом мой полнозвучный гость. Слов я не разобрал, но его едва слышный голос сумел

вместо пустого отчаяния, пустого раскаяния, пустого раздирания моих же никому не нужных ран зарядить меня волей к искуплению. Я вновь ощутил уверенность, что сумею исполнить его уроки, ибо тот, над кем слово властно, и сам обладает властью над словом, а до встречи с Иркой власть слова надо мною была огромна.

Боже праведный, вот же кого он мне напомнил, мой ночной гость – того ночного спутника! Так, может быть, Орфей уже являлся мне однажды, а я лишь по своей тупоголовости и легкомыслию пропустил мимо ушей его призыв, его намек?..

Орфей, ответь, это был ты или не ты?!

Но он ответил мне только перестуком колес из-под пола.

* * *

Опаздывая – уже никто и не считал, на сколько часов, – поезд влачился по диким степям Казахстана. Снежная равнина за окном была настолько лишена хоть каких-нибудь маячков, что если бы не медлительные «тук-дук, тук-дук» под полом, то временами становилось бы непонятно, еще ползем мы или уже стоим. Ко всему прочему в вагоне – плацкартном, разумеется, купейные в ту пору пребывали для меня в каком-то нездешнем измерении – почему-то не зажигали лампы, и народ, давно махнувший на все рукою, даже не пытался узнать, почему нет света и когда зажгут: зажгут, сам увидишь. Доминошники в боковом отсеке держались дольше прочих, но когда у них кончилась вторая бутылка, они тоже заметили, что в мерцании снегов уже давно невозможно разобрать достоинства их костяшек, и наконец-то прекратили свое клаяние, – один лег лицом на неоконченную партию, другой, мотаясь, забрался на верхнюю полку, и оба погрузились каждый в свой мир тревог и битв, изредка вскидываясь и сдавленно вскрикивая в особо драматических эпизодах.

Поскольку в ту минуту я как раз перестал понимать, стоим мы или движемся, мне показалось, что новый сосед подсел к нам с мамой на ходу. Законное мерцание не позволяло разглядеть его лицо, но силуэт поразил меня своей нездешностью – до этого я видел длинные волосы только на портрете Тургенева в нашем полуспортивном-полуактовом зале, ну а Маркса я вообще не считал за человека. А такой уверенной посадки головы я и вовсе никогда не видел ни у людей, ни у портретов.

При этом в нашем новом спутнике не было ни тени надменности, он был сама предупредительность, но уже по одному тому, что для него требовались никогда прежде не употреблявшиеся в моем мире слова вроде надменности вместо нахальства и предупредительности вместо культурности, то впоследствии я оценил его манеры как аристократические – слово в ту пору мне вовсе неведомое, но я и в свои двенадцать почуял, что каким-то подобным образом, должно быть, обращались друг с другом Атос и Арамис (д'Артаньян был слишком задирист, а Портос простоват).

– Надеюсь, я не помешаю? – кто бы стал такое спрашивать, держа в руках пусть и неразборчивый, но, тем не менее, полномостный билет в наше купе, однако ему и мама откликнулась каким-то особенным голосом, каким никогда не разговаривала со знакомыми:

– Что вы, что вы, нет, нисколько!

Теперь бы я назвал их интонации светскими, но и до этого слова мне предстояло расти еще лет десять.

Нет, это у мамы они были светские, а для нашего ночного гостя эта неестественность была естественной. Он, казалось, наполовину вообще говорил как будто сам с собой, размышлял вслух.

Я не берусь пересказать, о чем мы тогда проговорили половину ночи в мерцании бескрайних снегов, тем более что плоский буквальный смысл его слов только исказит их глубину. Наши с мамой слова бродили по обыденности, а он как будто приподнимал то

половицу, то пластину асфальта, то кусок дерна, и там открывался бездонный колодец, и оброненные туда его камешки-реплики отзывались гулом бескрайних пространств, и мир из маленького и обыкновенного становился огромным и значительным.

В таком, что ли, духе?

– Едем, едем, а там – ничего, пустыня... – вздыхает силуэт мамы, словно бы отмахиваясь от мерцающего окна.

– Там вся таблица Менделеева, – как бы для самого себя отзывается гость. – Золото, серебро, уран, висмут, молибден, фосфаты... Не перечислить. Когда-нибудь всю эту Сары-Арки поднимут на дыбы до самого Тянь-Шаня.

После почтительного молчания я вворачиваю формулу фосфорного ангидрида – пэ два о пять, – и гость искренне радуется за меня:

– Вы же химию еще не проходите?

– Он свои уроки учить не хочет, а все вперед забежать норовит, – с гордостью жалуется мама, но гость одобряет меня без всякого взрослого покровительства, он и вообще говорит без малейшей примеси хоть какой-то игры:

– Вот и правильно. Если подстраиваться под самое медленное судно, далеко не уплывешь. А вашему сыну суждено большое плавание.

И в этих его словах не звучит ни нотки лести или даже любезности – он просто говорит, что думает.

Я замираю: я давно об этом подозревал! А мама смущена – как бы я не вздумал зазнаться, в нашей семье это самый страшный порок.

– Плавание-то плавание... Но он совсем не хочет знать слово «надо».

– Его всю жизнь будут учить делать то, что надо. Так пусть хоть сейчас учится делать то, что хочется.

В его голосе звучит искреннее сочувствие ко мне и – да, надежда, что меня ждет впереди что-то настолько прекрасное, что я этого пока что и вообразить не могу. И я тут же загораюсь этой надеждой. Вернее, наконец-то даю ей волю.

– Да всякий бы рад делать, что хочется, – покоряется и мама. – Только за это всегда потом платить приходится.

– Ну и что? Бывает так, что всю жизнь платишь, зато и всю жизнь собой гордишься.

Я никогда ни до, ни после не слышал, чтобы подобные слова произносили с такой простотой. И никогда больше не убеждался с такой очевидностью: разумеется же, это чистая правда.

– Бетховен тоже все время тебе твердит: надо, надо... – продолжал размышлять наш невидимый спутник, уносясь в совсем уж недоступные выси. – А Моцарт просто дарит тебе крылья, и ты летишь. И потом всю жизнь помнишь эту минуту. А струсил, усомнишься – и она уже навсегда осталась позади, как Эвридика. И потом будешь всю жизнь умолять ее вернуться, но тебя даже слышать будет некому.

Книгу НА КУН, «Легенды и мифы Древней Греции», я перечитывал без конца, но все больше про войны, про Гектора, которого любил за звучное имя, и Ахилла, которого недолюбливал за хилое звучание, – Эвридика же лишь неясно блуждала где-то на краю моей Ойкумены. И только странный спутник открыл мне, сколь волшебным звучит это имя.

А разглядеть его самого мне так и не удалось: когда вспыхнул свет, сосед из бокового купе, спавший лицом на угловатой доминошной змее, грохнулся на пол, и мы все оцепенело взирали, как он со впечатавшейся в щеку траурной костяшкой ошалело собирает себя на четвереньки.

– Пить надо в меру, сказал Джавахарлал Неру! – торжественно возгласил придушенный бас в соседнем купе.

– Пить надо досыта, сказал Хрущев Никита, – бодро откликнулся суетливый тенорок, но бас тут же его осадил:

– То-то все у вас и пропито, добавил маршал Тито.

И свет погас снова, убив на время даже мерцание за окном.

– Как будто теплом в лицо пахнуло, – простодушно сказала мама в непроглядной тьме про исчезнувший свет.

– Закон Джоуля – Ленца, – поспешил вставить я, и невидимый спутник с удовольствием подтвердил:

– Правильно. Но англичанин Джоуль его открыл все-таки годом раньше нашего Ленца. Хотя начинал как пивовар.

Он все на свете знал.

– Джоуль ведь даже в акустике работал. – Слово «акустика» прозвучало почти так же волшебным, как слово «Эвридика», – столь мечтательно он его произнес.

Чтобы завершить ошеломляющим:

– Ваш сын будет великим человеком: он умеет слушать.

– Это вы умеете говорить! – чтобы он меня не портил, растерянная мама чуть не замала на него руками, уже проступившими в ожившем мерцании снежной равнины, но удивительный спутник спокойно и уверенно отверг эту суету:

– Умеет говорить только тот, кто умеет слушать.

С тем он и исчез из нашей жизни – возник из снегов и растворился в снегах.

Оставив мне четыре волшебных слова – большое плавание, акустика и Эвридика. И когда я разбивал себе морду сам или мне разбивали ее добрые люди, я всегда повторял про себя: большое плавание, большое плавание... И лучше всего, если бы меня вывела в великие люди акустика, а полюбила за мои подвиги Эвридика.

Однако же я жаждал услышать и неба содроганье, и гад морских подводный ход лишь до встречи с моей реальной Эвридикой, с Ирккой. А после мне из всего мироздания довольно было слышать ее.

Нет, чувствую, мне удалось передать колдовскую силу речей нашего спутника не лучше, чем эдисоновский фонограф передает магию Карузо: это тот самый случай, когда кое-что гораздо хуже, чем ничего. Но, может быть, искажение голоса рельефнее оттенит власть слова, которое было в начале моего обращения к мечте? Конец которой, сама того не подозревая, положила Ирка...

Если бы не Ирка, обладание которой никогда не позволяло мне ощутить себя окончательно несчастным, меня бы ужаснула одна только мысль – после похорон мамы в последний раз прокатиться нашим с нею путем. Тем более что в этом заброшенном Богом крае все оставалось прежним, и даже свет в вагоне все так же отсутствовал, и влачащиеся за окном снега мерцали по-прежнему, и только прежним подпольным и медлительным ударами «тук-дук, тук-дук» распадающийся вагон отвечал мучительным дребезгом да боковой отсек был свободен от доминошников – дорога тоже умирала. Свободен был и я: меня никто не видел, и я не препятствовал слезам катиться до самой пазухи. Это были слезы примирения: я знал, что меня ждет Ирка, с которой ничего не страшно, и помнил, что сумел скрасить маме ее последние дни, и слезинка выкатилась из ее угасающего левого глаза лишь в первый миг, когда она меня увидела. А потом я все часы, покуда она не засыпала, сидел у ее кровати и смешил ее, так что смеялась вся палата, и женщины потом говорили, что никогда еще не видели таких преданных сыновей, и мама растроганно улыбалась до последней минуты, а я благодарил дар слова, явившийся мне на помощь в эти страшные часы и принеший с собою для мамы дар забвения.

И для мамы, и для меня. Он и в вагоне меня не покинул, так что в темноте рядом со мною сидел мамин призрак, и я совсем не обрадовался новому соседу, явившемуся из тьмы с полновластным билетом.

– Надеюсь, я не помешаю?

Я бы вздрогнул, если бы эти слова не были произнесены совершенно другим – сиплым, пропитым голосом.

– Что вы, что вы, нет, нисколько, – заторопился я, поспешно вытирая мокрые щеки о плечи.

Слабое мерцание не позволяло разглядеть опустившуюся напротив меня фигуру, и я запустил пробный шар – постучал по стеклу и произнес тоном завязтого пикейного жилета:

– Кажется – пустыня, а на самом деле вся таблица Менделеева. Золото, серебро, уран, висмут, молибден, фосфаты... Когда-нибудь всю эту Сары-Арки поднимут на дыбы до самого Тянь-Шаня.

– Да, – неохотно согласился мой не то новый, не то старый спутник. – Пока недра не выскребут, ничего развивать не будут. Не хотите выпить? У меня с собой есть.

– Пить надо в меру, сказал Джавахарлал Неру, – пустил я в ход тяжелую артиллерию, но мой визави и этого пароля не узнал.

– А я пью в меру, – оскорбленно просипел он, и меня бросило в жар: я ошибся, это не он, такую прибаутку он не мог забыть.

– Что вы, что вы, я совсем не про вас, просто лет сорок назад гуляла такая шутка, я думал, вы помните...

– Да кому они теперь нужны, эти Джавахарлалы... Значит, не будете?

Он побулькал из горлышка и поставил силуэт бутылки на стол. Даже в темноте было заметно, как его передернуло. Но заговорил он, однако, с подобрешней хрипотцой: куда я еду, почему такой длинной дорогой? Я соврал, что хочу заехать к родне во Фрунзю, как проносила моя бабушка.

– Фрунзе... – мой визави словно бы с сомнением взвесил это слово на невидимой ладони. – Бывший Пишkek. Нынешний Бишкек. Это палка, которой взбивают масло. Посмотрим, какое масло они собьют. А оттуда, значит, в Ленинград? Или теперь уже Петербург? Какой в совке может быть Петербург, настоящие петербуржцы давно в Париже... Вернее, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Нет, это все-таки он.

– Хотя в Питере, наверно, и сейчас жить повеселее, чем в нашем ауле. У нас же теперь все государство один аул. Я живу в маленьком ауле, а они в большом, вот и вся разница. Я им не завидую: бывают такие минуты, что нужно решиться на *поступок*. Чтобы потом всю жизнь гордиться собой. Или локти кусать, что не решился. Ведь главное в жизни – самоуважение, правильно? Когда живешь и знаешь, что ни перед кем никогда не стелился, не падал на четыре кости.

Я поспешно подтвердил, грустным вздохом постаравшись показать, что сам-то я на такую высоту духа не замахиwaюсь, и он это уловил, заговорил не напористо и амбициозно, как это свойственно неудачникам-алкашам, но доверительно, словно бы рассуждая с самим собой.

Нет, это несомненно был он. Только как же он так пропил свой аристократический голос? Я сделал усилие, чтобы в его голосе расслышать одну лишь составляющую мужественного обаяния «а ля Высоцкий».

– Я никогда никому не завидовал – кто живет в столицах, устраивает карьеру... Стедется перед нужными людьми. А я в своем ауле сам себе хозяин. Дальше юрты не пошлют, меньше класса не дадут. Да и куда они без меня, где они еще найдут такого Леонардо, который бы им все уроки вел, от химии до географии. Хотя и меня иной раз брала тоска,

не хочется готовиться, пусть лучше расстреляют. Поставлю учебник уголком перед собой и читаю с пропусками, чтоб успели вдуматься. А когда они начинают отвечать, читаю какой-нибудь толстый журнал под столом, чтоб от их ответов с ума не сойти. На журналы деньги выделяли. Заставляла советская власть комедии разыгрывать. Зато теперь ни комедий, ни химии. А учитель все равно был в большом почете. Зима, вьюга, страшно на улицу нос высунуть, а мои братья-кочевники выводят жеребца и гоняют, чтоб пот выгнать. А потом его ножом в сонную артерию. И меня всегда зовут на бешбармак, мне первому наливают арак в пиалу – обязательно по краям потечет за воротник. А хозяин с превеликим почтением вытрет собственным рукавом. И в этом будет столько искренности, что никакому министру, никакому академику за тысячу лет не выслужить. Ведь я мугалим, большой человек.

В его голосе снова прозвучала оскорбленная гордость, и мужественная хрипотца вновь обернулась пропитой сиплостью. Я, может быть, еще сумел бы это не расслышать, но тут, как назло, вспыхнул свет, с безжалостным цинизмом осветив изжеванную, испещренную лиловыми червячками физиономию старого алкаша. Свет подержался ровно столько, чтобы разглядеть еще и убожество поношенной, вероятно, списанной уходящими советскими частями, полевой формы, на которую особенно нелепо ниспадали немые космы цвета давно не чищенного серебра. Или молибдена. Которого я, правда, никогда не видел.

Похоже, и он понял, что я все понял, ибо даже когда непроглядная тьма понемногу вновь рассеялась мерцанием снегов, ни он, ни я долго не решались прервать молчание.

– А вы не помните мальчика с мамой, которому вы в такую же ночь, в таком же поезде когда-то предсказали великое будущее? – так и не решился спросить я, да и какая разница, помнит он это или не помнит. Брошенное семя дало всходы – я долго мечтал и даже время от времени ступал то на одно, то на другое великое поприще, покуда любовь к Ирке не открыла мне глаза, что лучшее поприще – это счастье, – счастье и заглушило слово Орфея. Если это, конечно, был Орфей. О чем тогда ни я, ни тем более мама, разумеется, и помыслить не могли.

Я пожелал своему спутнику спокойной ночи и, не раздеваясь, отвернулся к стене. Я хотел только притвориться спящим, но представил Ирку и тут же, разнежившись (наше-то счастье казалось бесконечным!), в самом деле заснул.

Проснулся я снова в темноте, но в купе уже никого не было. Мой спутник вновь каким-то чудом угадал свой полустанок и, как и в прошлый раз, растаял в снегах.

На этот раз уже навсегда.

* * *

Или все-таки не навсегда? Или все-таки нынешней ночью это именно он снова меня разыскал? Но зачем ему было во второй раз в поезде являться мне в образе ерепенящегося неудачника, которого я долго вспоминал со смесью жалости и смущения? Не давал ли он этим понять, что я лучшего не заслуживаю, что служение делу, служение предназначению я променял на любовь к женщине, как мой ночной спутник променял его на гордую позу? А я еще годами жалел его с высоты своего счастья... Хотя надо было, может быть, жалеть себя, обменявшего поиск великого поприща на домашний уют?

Не зря же я никогда не рассказывал Ирке про ночного спутника, посулившего мне великую судьбу, – это я, и живший-то наполовину ради того, чтобы все пересказывать Ирке! А про ночного Орфея никогда даже не заикался. Чтоб Ирка не догадалась, что я каким-то хитроумным способом ее обманул: ведь влюбилась-то она в мечтателя и авантюриста, а получила преданного и счастливого супруга, не нуждавшегося ни в чем, кроме нее.

Ведь она должна была боготворить себя, чтобы довольствоваться паладином, не знающим ничего выше ее самой... Но уж чего-чего, а самообожания в ней не было ни зернышка.

Ни вообще трепета. Даже к смерти она относилась примерно как к пищеварению: пока оно в порядке, незачем про него и помнить. А если расстроится, нужно лечить.

От смерти, конечно, не вылечишь, значит, про нее и вовсе думать не надо – только выполнять как можно более тщательно процедуры, придающие ей благопристойный вид. При всем кажущемся Иркином легкомыслии она умела железной рукой отсекал ситуации, где она оказывалась беспомощной: умела поплакать, поотчаиваться – и переключиться на что-то осуществимое.

А вот я, склонный когда-то замахиваться на невозможное, – почему я никогда ни у кого – даже ужасом и тоской – не просил вернуть мне маму? Считал законным ее уделом послужить навозом нашему цветению и в положенный срок кануть в вечную ночь? Наверно, не без того, но главное – в нашем с Ирккой счастливым гнездышке я мог прожить без кого и без чего угодно. И без великого поприща, и без отца, и без матери, и без детей, и без внуков – лишь бы они стояли на своих ногах. И даже теперь я был готов вернуть в чужие гнездышки даже не трех, а тридцать трех Эвридик, чтобы только Орфей вернул мне мою.

Я найду, найду для них нужные слова! Если уж моим словам случалось изменить человеческую судьбу, когда я не очень-то и старался.

* * *

Я прикрыл глаза и снова оказался в поезде.

После ночевки под распахнутыми, насыщенными огненной пылью небесами ресторанный скатерка казалась белоснежной. Пустые бутылки от хода поезда перезванивались нежнейшими курантами. В вермишели, курчавой, как борода греческого божества, запутались оранжевые стружки морковного салата.

За окном промелькнул ишак, озадаченно развесивший лысеющие черные уши, – и снова бесконечная спекшаяся глина, лишь кое-где оживленная ржавыми каменными болячками да сверкающими пятнами солончаков, от которых звездными лучами уносятся вдаль серебящиеся траектории каких-то неведомых не то ручьев, не то болидов. Но стоит появиться ложке воды да согбенной фигуре в цветастом халате с кетменем величиною в грелку, – и скоксовавшаяся преисподняя обратится в сад. Немыслимо...

Распаренная буфетчица, перехватив мой взгляд, вынула изо рта коричневый леденец, обсосанный ею до заостренности ампулы с йодом, и подивилась как бы сама с собой:

– А нацмены на такой же чего-то ростят...

И продолжала укладывать сосиски, сросшиеся гроздьями, как бананы.

А за такыром – рукой подать! – вставали, прихваченные кое-где на живую нитку колючками, такие же скоксовавшиеся горы. Хребты их оскаливались камнем, словно спины допотопных ящеров. От их ковриг осыпи отхватывали исполинские ломти, обнажая розовое, фиолетовое горное мясо. Начинаешь понимать, до чего они громадные, только когда видишь на откосе миниатюрный двухэтажный дом, который какой-то Левша сумел приладить двумя пальчиками, ухитрившись не раздавить.

Горные лбы изрыты чудовищными оврагами, на склонах которых мог бы свободно разместиться целый город. А еще подальше вода, проливаясь с небес три раза в году, успевает так навывывать целую толпу многослойных индийских пагод, увеличив их раз в десять-двадцать. Захватывает дух, как они возносятся ввысь – пагода за пагодой...

На изъезженной вершине помаячила высоковольтная паутинка – невольно представилось, каково было ее там ставить, на этом раскаленном камне...

Теперь я знал, что это такое – бесконечные муки жажды и лопающиеся виски. Знал и выдержал. И набил полный рюкзак спрессованных прекрасностей. И через каких-нибудь пару недель сложу их к ногам моей возлюбленной. А без этого я даже не вполне пони-

мал, зачем мне на что-то смотреть, чем-то восхищаться, что-то запоминать, если хоть когда-нибудь не смогу рассыпать свои сокровища перед моей Ирккой.

А покуда от избытка счастья я дарил как бы заинтересованные взгляды юной замухрышке, одиноко стывшей перед нарзанной бутылкой (пусть и замухрышкам кажется, что они кому-то нужны), и подливал портвейна новому знакомцу, позволившему называть себя Жекой, хотя представился он очень солидно:

– Евгений. Хотя и не Онегин. Но оно и к лучшему – Ленского не убивал.

И торжествующе рассмеялся:

– А ты думал, все тут серые, как валенок? Я же сам коренной ленинградец! А ты в Ленинграде на кого учишься? Ну, что, сказать тебе, в какой четверти синус возрастает? Я же все знаю, а тут поговорить не с кем, никакой культуры нет – только и знают: бифштекс рубленый и бифштекс натуральный. Что у вас еще на второе? – внезапно повернулся он к буфетчице.

– Бифштекс рубленый.

– Видишь?.. – Жека захохотал с горьким торжеством. – А Ленинград – да-а... Город-памятник... Через каждые сто метров кафе, все есть, люди все такие вежливые... Хотя сейчас тоже понаехал весь Скобаристан, в кафе рукавом утираются...

Жека с отвращением вытер подмышки салфеткой и сунул съезжившийся комочек под тарелку с треугольным хлебом (тарелка уже заметно накренилась).

От бисеринок пота Жека был весь пупырчатый, как огурец, но красной физиономией, обрамленной простодушными белобрысыми кудряшками, напоминал бы деда-мороза, если бы не внезапно породистый горбатый нос.

– Им меня не сломать, понял-нет? Думают, если расконвоировали, я им буду жопу лизать? Какой-нибудь Ванек с пятью классами мне будет указывать? Я скобарей учил и учить буду! Я не посмотрю, партийный ты, беспартийный, с погонами, с херонами, а будешь наглеть – получишь промеж глаз!

Жека за свой гордый нрав и попал в эти края.

– Да-а, раньше были мужики... Володя Маяковский... Написал: в столе лежат две тыщи, пусть фининспектор взыщет, а я себе спокойненько умру – и лег виском на дуло. Видишь, я же все знаю, а с кем мне тут разговаривать, с тобой с первым культурно разговариваю. Я говорю – ты понимаешь, ты говоришь – я понимаю. Не понимаю – ставлю тебе мой контрвопрос. Да, Володя... А еще был Серега Есенин – читал? А здесь спроси кого хочешь – ни одна сволочь не читала!

Я бросил на юную замухрышку невольный испытующий взгляд и в который раз поймал ее на том, что и она на меня поглядывает. Но я-то дарил ей взгляды от щедрот своих, а она, конечно же, по заслугам моим – если она и сама тут явно белая ворона, на кого ей еще смотреть, как не на меня – совсем уж нездешнюю птицу.

– Серега был, как я, хулиган... Написал кровью: но и жить, конечно, не новей – и повесился в «Астории»... А здесь про это ни одна сука не знает! Сейчас кого уважают? У кого капуста в кармане. Не веришь? Ты по книжкам судишь, а сейчас только один писатель жизнь знает – Вася Шукшин. И Володька Высоцкий. Ну, Володька сам сидел, Володька понимает... Ты не слышал? Высоцкий и Шукшин в детстве жили в одном доме – крутой такой барак... Его потом специально не стали сносить. Прораб доложил, что снесли, а сами кругом обстроили пятиэтажками, чтоб с улицы было не видно... А теперь что – все только за бабками. Видишь, мужик пѣхает, думаешь, за чем – за бабками! Доску тащит... Тебе-то начхать, а я знаю, что он ее где-то упер! Вон узик гонит... Тоже за бабками. Вон, вон, смотри!

Я посмотрел в окно и увидел самый настоящий мираж: на горизонте разливалось мелководье, в нем отражались телеграфные столбы, стоящие по колено в воде, и белое крыло чайки трепыхалось над водным зеркалом, будто газетный лист на ветру. Но поезд прибли-

жался, приближался, и из-под воды снова проступала запекшаяся глина, а мелководе вновь отступало к горизонту, и уже новые столбы стояли по колени в воде, и косо взмахивало новое крыло чайки...

Будет что рассказать Ирке!

— У нас с тобой интеллект, — тем временем долбил Жека, — а кому тут оно надо?.. Видал — официант. По-старому — лакей. Будка — с похмелья не обдрищешь. А девки не возле нас — возле него трутся. Потому что у него башли в кармане, а у тебя крошки в бороде.

Я поспешно отряхнул бороду и как бы по другому поводу оглянулся на мордатого официанта, который и до этого вызывал у меня неясное беспокойство. Ибо, по моим представлениям, именно я с моей выгоревшей рубахой, хемингуэвской бородой и бронзовой шеей должен был вызывать интерес женского персонала, однако под безразличными взглядами официанток, явно льнувших к этому лакею, я начинал ощущать весь свой мужественный набор чем-то глубоко несолидным. На меня поглядывала только одинокая замухрышка, а они обращались с этим господином Чего Изволите так, словно он был лихим рубахой. И, еще раз взглядевшись, как он сидит, ухарски развалясь, я ощутил смутную тревогу: а может, я и правда чего-то недопонимаю, что здесь почем в мире взрослых людей?..

— Мы с тобой проблемы обсуждаем, — яростно промокал подмышки Жека, — а он нас сейчас подойдет и острижет. И правильно — раз мы бараны! А если бы мы этих жучил били промеж глаз, они бы не нагтели! Только мало таких, как я, — кто за справедливость. Вот ты можешь какому-нибудь жучиле всадить промеж глаз? — Жека внезапно выкатил глаза, белые под белыми бровями на красном лице, будто на фотонегативе.

— Да они меня как-то не очень волнуют... — пробормотал я, и это оказалось роковой ошибкой.

— Ах, тебя не волнует! Чистенькие ручки боишься запачкать? Сильно культурный?! Картошку картофелем называешь?! Или, может, ты сам жучила?! Что, не нравится? А я всем правду говорю! Ты что, думаешь, за два пузыря портвяги всю жизнь мою купил?!

— Ничего я не думаю, чего ты на меня-то накинулся?

— А того накинулся, что ты барыг защищаешь!

И вдруг скривился презрительно:

— Я думал, ты ленинградец... Ну-ка, скажи, где Друскеникский переулок? А где Кирочная? А Соловьевский гастроном? А Комаровский мост?

— Я же не автобусный кондуктор...

— А я, значит, автобусный?!

Поезд замедлял ход.

Внезапно Жека через стол ухватил меня за грудки. Я оторвал его руки и прижал их к столу. Он рванулся из-за стола, сметая бутылки; я услышал визг буфетчицы, но не понял, что это такое.

В проходе Жека сделал еще одну безуспешную попытку вырваться и вдруг — как поклонился — вlepил мне лбом по зубам. Я запоздало отпихнул его, и он, прокатнувшись на пустой бутылке, шлепнулся на четвереньки, тщетно попытавшись удержаться за свисающую замухрышкину скатерть, но лишь стащил ее на пол вместе с нарзаном. Однако, не теряя ни мгновения, он тут же взбесившимся мотоциклом ринулся на меня, — я едва успел засветить в его пылавшую фару. Жека загремел стульями, угодив рукой в курчавую бороду вермишели.

Наступила передышка. Жека с криком «Жучилы жучил охраняют!» бился в объятиях лихого лакея, из левой ноздри его породистого носа бежала алая ленточка. «Вот почему у него такой нос», — мелькнуло у меня в голове.

— Этот первый задирался, носастик белобрысый! — оглушительно вопила буфетчица. — Верочка, зови милицию со станции!

– Не надо милицию, ему срок добавят, дураку! – перекрикивал я. – Это его станция, ссадите его, я за все заплачу!

– Ты за них заступаешься, а они за тебя! – бесновался Жека, но мордатый официант слово «заплачу» расслышал безошибочно. Он поволок Жеку к выходу, но тот напоследок ухитрился-таки пребольно достать меня ногой по голени. Однако я сумел не дрогнуть ни единым мускулом.

Я дернулся было собирать битую посуду, но, встретившись с исполненными ужаса глазами словно бы подернувшейся пеплом замухрышки, сообразил, что моей хемингуэвской бороде это не к лицу, и принялся рассовывать по беленьким передникам официанток синенькие пятерочки. Уборочный механизм завертелся, а я почел за лучшее удалиться в тамбур, противоположный тому, из которого был высажен мой собутыльник.

Поезд тронулся, и я, растирая отбитый кулак, осторожно приблизился к пыльному окну. Растерзанный Жека, отплывая назад на мазутной щебенке, промокал ноздрю салфеткой – когда только успел ее прихватить... Одичавшим взглядом он озирает уходящие вагоны, и я на всякий случай отодвинулся от стекла. Жека достал из штанов еще две салфетки и вытер подмышки, пустив комочки по ветру не глядя. Заправил рубаху и побрел к щитовым домикам, среди которых уныло серел единственный шлакоблочный барак с вывесками «Милиция» и «Столовая» – вероятно, та самая, с бифштексом рубленным и бифштексом натуральным.

В полуметре от него прогрохотал самосвал – Жека даже не глянул. Пыль от самосвала ступенями возносилась все выше и выше, а Жека становился все меньше и меньше, и у меня многие годы сжималось сердце, когда вдруг из тьмы всплывала понурая фигурка, покорно бредущая вдоль шлакоблочного барака с вывеской «Столовая» и «Милиция», одиноко сереющего среди кучки сборных домиков, таких маленьких под десятиверстной пыльной кометой...

Иногда я, с вымученной улыбкой давая понять, что отдаю отчет в нелепости своего поведения, обращался к Ирке за помощью: «Ну что я сделал не так?... Что, надо было после губы подставить еще и глаз?... Или надо было поддакивать всей его дури?» – но Ирка, если видела, что дело уже сделано и поправить ничего нельзя, всегда выгораживала меня до абсолютной безупречности: все я сделал совершенно правильно, и хватит себя травить, Жека мой, небось, уже сто раз забыл, как какому-то студенту расквасил губу, а тот ему нос, для него это дело привычное.

Скорее всего, так оно и было. Но в ту далекую минуту он был до того бесконечно мал и одинок, что от жалости у меня даже перестали вздрагивать пальцы, и я почувствовал, что могу вернуться в ресторан, не роняя достоинства.

Удалому официанту я пожаловал розовый чирик с отвернувшимся от нас Лениным (в кармане хабэшных джинсов для Ирки у меня были заколоты английской булавкой еще три сотенные бумажки) и уже по-свойски, словно к товарищу по испытанию, подсел к замухрышке, оставшейся еще и без нарзана. Перед ней тоже лежала новая скатерть, и сама она уже вернулась к телесному цвету, тронутому общей воспаленностью от пустынного жара.

– Испугались? – сочувственно спросил я и заказал сразу целую бутылку советского шампанского, и Ирка одобрительно покивала мне за то, что я не оставил бедную девушку без внимания: на наших вечеринках она непременно указывала мне потихоньку то на одну, то на другую гостью: «Потанцуй с Верой, Леной, Томой, а то их никто не приглашает».

А тут я вдруг сам оказал такую чуткость по отношению к обиженному природой созданию.

– У вас губа распухла, – пролепетало создание, и я, будто вишню, пососал посторонний бесчувственный желвак во рту и еще раз под столом помассировал костяшки.

В награду за мою щедрость подавал мне сам владыка гарема, каждый раз по-новому обругивая бедного Жеку, и я каждый раз по-новому за него вступался, похоже, именно этим великодушием и тронув мою невидненькую собутыльницу. Она ехала в Москву *поступать* и захмелела удивительно скоро (правда, и шампанское здешнее отдавало бражкой). На пустыню спустилась тьма, а я, машинально посасывая уже сделавшуюся привычной вишенку, все дарил и дарил своей случайной спутнице ту сказку, которая должна была ей запомниться на всю жизнь, а она все не смела и не смела ей поверить. Я из женщин-мальчиков, осторожно промокая салфеткой редкие слезинки, горько сетовала она на судьбу, ими все умиляются, но никто не влюбляется, а я оскорбленно протестовал: да я глаз от тебя не мог оторвать, как только ты вошла, ты была такая загадочная и одинокая, такая нежная и удивительная...

А Ирка, одобрительно улыбаясь, все подбадривала меня и подбадривала: «Давай еще! Да поконкретнее!»

Мне тоже хотелось отыскать комплимент поконкретнее, но все у этой бедняжки было ни рыба ни мясо – глазки не большие и не маленькие, носик не востренький и не кругленький, волосики не густые и не жидкие, не темные и не светлые... Что-то в ней было от деревенского пастушка, но ведь это ее и терзало – сходство с мальчиком... И я решил обойтись без низких подробностей: ты просто царица Савская в изгнании! Ты увидишь – через десять лет Москва будет у твоих ног! Ты только должна не забывать, что ты царица! Никогда не забегай первой, ни к кому не выказывай интереса – только отвечай. И только тихо, пусть напрягаются, чтобы расслышать – не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому. И никогда не сутулься, голову носи высоко, не иди, а выступай. Пусть все чувствуют, что где-то у тебя за спиной лежит твое собственное царство! Да, плебеев это будет злить, они будут сплетничать: чего, мол, она из себя строит, но ты иди своим путем и помни, что это лакеи сплетничают о властителях, а не наоборот, – и в толпе простолюдинов рано или поздно отыщется рыцарь, который так же мечтал о принцессе, как юные девушки мечтают о принце, – поверь, ни одна царица в изгнании не остается без своего паладина, только нужно ждать, не размениваться на мелкие подачки судьбы – нужно ждать рыцаря, и рыцарь придет!

Я даже тонко давал понять, что я отчасти и есть тот самый рыцарь (Ирка с сомнением, но проглотила), однако сейчас меня влекут иные подвиги, и это оказалось очень стильным финальным аккордом – сойти в непроглядную жаркую тьму на неведомом полустанке, откуда я рассчитывал добраться до Великого шелкового пути, сделать вдоль него хотя бы один верблужий шаг (посвятив его, разумеется, Ирке).

– Через десять лет Москва будет у твоих ног! – крикнул я ей вслед, не смущаясь удалого лакея, заслонявшего ее в ослепительном тамбуре, и она унесла эту сказку в далекую чужую Москву, а мы с Иркой остались вдвоем в духовке ночной пустыни.

И эти десять лет прошли. И к ним прибавились новые десять. И портреты Хемингуэя смыло глянцем всех разновидностей услужения, и в конце концов даже мой дар располагать людей к откровенности оказался востребованным. Редактор институтской стенгазеты, обратившийся в издателя, решил тиснуть книгу великого финансиста-реформатора, ставшего каменной стеной на пути бюджетного дефицита, замкнувши слух для плачей о вдовах, сиротах, пенсионерах и прочих паразитах и дармоедах.

Этот Великий Финансист представлял Россию то в ООН, то в МВФ, то в КВН, но по-настоящему он прославился в борениях с красной от негодования Думой – или еще Верховным Советом? – за секвестр бюджета, который его противники называли обрезанием, намекая на еврейско-ритуальное происхождение борьбы с долгами. Однако Несгибаемый Монетарист с этого конца был совершенно неуязвим: мой издатель-стенгазетчик, подобно многим евреям компенсировавший частичное поражение в правах язвительным

всезнайством, посмеиваясь, рассказывал, что будущий Финансист Года, Века и Тысячелетия из рабоче-крестьянского подвала прилепал в Москву в лаптях и *поступал, рос и защищался* без самой хилой *руки*. И если бы не революция, так и просидел бы не то в завлабах, не то в заводствах.

Но он и теперь вряд ли долго усидит в верхах – рожденный летать стелиться не может, он наверняка скоро вылетит отовсюду, надо ковать книжку, пока он еще интересен Западу, тамошние наивные спецы видят в нем чуть ли не кандидата в президенты, а он на свою голову всерьез помышляет о величии России...

– А он же знает до хрена и больше, – инструктировал меня б/у редактор стенгазеты, – но сразу начинает плющить таблицами, графиками... Ты его должен разговорить насчет личной жизни.

Мне было и самому интересно взглянуть на Великого Финансиста, когда он приехал в Петербург совершить паломничество по местам боевой славы своего кумира Столыпина. А получится ли разговорить – я не умею этого делать специально. Если человек пробуждает во мне желание его воспеть, он начинает и сам идти навстречу песне. Ибо всякий человек, хоть сколько-нибудь возвысившийся над животным, в глубине души больше всего на свете тайно мечтает быть воспетым.

Великий Финансист настолько походил на мальчика-толстячка, что лишь вблизи было заметно, какой он огромный. В нежной английской дубленке ему было жарко среди раскисшей петербургской зимы, и он шагал нараспашку, держа в руке нездешнюю замшевую ушанку, сам казавшийся на шоссе обочине какой-то заморской птицей в голубом ореоле трудовых выхлопов замызганных ревущих трейлеров. К анонимному обелиску кто-то из предыдущих почитателей прислонил посылочную фанерку, на которой забытым химическим карандашом было намусолено: «Здесь находилась дача великого государственного деятеля-реформатора Петра Аркадьевича Столыпина».

На крупном детском лице его наследника проступило страдальческое недоумение: «Ведь великий человек был... Неужели трудно по-человечески сделать?..» И пока мы, балансируя между Сциллой водосточной канавы и Харибдой автомобильных брызг, чавкали по раскисшему снегу, Финансист, перекрикивая рев проносившихся над ухом грузовиков, рассказывал, как он обустроит для начала хотя бы Московскую область. Он намеревался сделать из нее Новую Англию, но на меня произвели более сильное впечатление его гаруналь#рашидские замашки: разъезжать по области в замызганных «жигулях» при затрапезном водиле, а когда гаишники начнут вымогать бакшиш, восстать с заднего сиденья во всей славе своей, под телекамеру сорвать погоны...

На прощание я спросил его, в чем он видит свои главные государственные заслуги. Он ответил коротко: «Не прогибался». И отбыл на скоростном Р#200 обустривать Московскую область. Мы же не австрийцы, на прощание поделился он сокровенным, мы не можем так вот взять и засесть в красивых кафе...

Однако, покуда мне на неторопливой дешевой «Юности» удалось добраться до стольного града Московской области, она уже успела отказать в доверии моему будущему соавтору: его рейтинг составил 0,003 %. В возмещение, правда, он был приглашен в правление какого-то нефтегазового концерна, дабы своей несгибаемостью компенсировать чью-то излишнюю гибкость. Он возник из нефтегазовой мраморной утробы все в той же нежной дубленке нараспашку и с тою же самой замшевой ушанкой, которую при мне так ни разу и не надел. На его большое детское личико легла тень неудачи, но в своем оскаленном джипе об ослепительном будущем России он рассуждал более чем оптимистично. Его западных друзей пугали разговоры об особом русском пути, и я советовал ему почаще повторять, что особый путь – это путь к достойной капитуляции.

Он казался тугодумом, но все подсекал на лету, и мы добрались до его загородной резиденции, почти не заметив дрожащие огни печальных деревень рано темнеющего ненастного Подмосковья.

Яркий свет вернул меня к реальности, тут же обернувшейся ирреальностью: передо мной сиял двухэтажный дом английского эсквайра – белые колонны, плещ... Обширный двор, обнесенный краснокирпичной стеной, был вымощен керамической плиткой, вроде той, какой в хрущевках когда-то мостили ванны. Но наверняка тоже чисто английской. И, похоже, подогретой, судя по тому, что на них не белело ни единой снежинки, хотя в черных полях охапки снега были разбросаны в неопрятном изобилии.

В просторном холле нас встретила худенькая женщина в немарком свитере до колен (в неге и в холле, вдруг стукнуло мне в голову) и – ни здравствуйте, ни до свидания – почти не разжимая губ, обращаясь к одному лишь Финансисту, проговорила что-то едва слышное, вроде «Тыпыкаты?».

– Я... – растерялся великий человек, – я ему сейчас скажу...

– Тыпытыкаты, – она не принимала извинений.

И огромный мальчуган в развевающейся английской дубленке ринулся в свой английский двор и тяжело затоптал по английской плитке вслед за выезжавшим в неуютное Подмоскowie оскаленным джипом, страстно взывая: «Слава, слава!»

Слава женщине моей...

Что-то взволновано растолковав водителю (зеркальное дверное стекло обладало идеальной звукоизоляцией), он вернулся в дом, сияя от радости: я ему все объяснил, он съездит, привезет...

– Тыпытыкаты...

По-прежнему не замечая меня, она исчезла. Вынудив Несгибаемого Финансиста развернуть удвоенную гостеприимную хлопотливость. Самолично совлеки с меня мой китайский пуховик беззащитного цвета и пресеки мои попытки переобуться в домашнее, он повел меня на второй этаж в свой кабинет. По галерее, обрамлявшей холл, мы прошли в просторный кабинет, где за викторианским столом спиной к нам сидел у компьютера щуплый подросток. По экрану среди страшных черных развалин метались какие-то фигурки, обмениваясь друг с другом тархтящими трассирующими очередями.

– Мой сын, – с застенчивой нежностью словно бы в чем-то признался Великий Реформатор.

– Кирюша, – обратился он к щуплой спине, – нам здесь надо поработать.

Спина не отзывалась ни движением, ни звуком.

Убедившись, что ни движения, ни звука так и не воспоследует, Реформатор смущенно объяснил:

– Он приехал из Англии, на каникулы. Пойдемте в бильярдную, нам, собственно, компьютер сейчас и не нужен.

Он разложил свои таблицы и графики на зеленом сукне бильярда, самолично заварил и принес английский чай в стеклянном цилиндре, только предложить мне поесть не догадался. Впрочем, сытое брюхо к учению глухо, а мне нужно было освоить много нового материала: Великий Финансист в своих воззрениях на человечество явно переоценивал роль таблиц и графиков.

Разговорить его о личной жизни мне не удалось – слишком уж выразительной она предстала мне воочию.

Когда мы расставались, за окнами царил непроглядная тьма – только плиточный двор сиял как наваждение неземное.

Как истинный государственный, Реформатор, естественно, забыл, что народ надо кормить, но когда в холле появилась худенькая женщина в длинном свитере, мой желудок ото

звался безумной надеждой получить хотя бы сухую корочку. Однако разум оказался прав: она на меня даже не взглянула.

– Вытыкытыкутэкэ? – не разжимая губ, спросила она, и Несгибаемый Финансист испуганно захлопотал, хлопал себя по карманам, а потом тяжело затопал вверх по лестнице.

Мы остались вдвоем. Постояли, помолчали. Я твердо решил не заговаривать первым и даже не смотреть на нее. Но, подобно Хоме Бруту, не вытерпел и глянул. К удивлению своему, поймав на себе ее тут же похолодевший и удалившийся прочь изучающий взгляд.

И это мне что-то странным образом напомнило...

Неужели я где-то ее видел?

Прикрыв как бы от света как бы усталые глаза, я бегло, но внимательно посмотрел на нее сквозь пальцы. Пища для воспоминаний была небогатая: глазки не большие и не маленькие, носик не востренький и не кругленький, волосики не густые и не жидкие, не темные и не светлые... Что-то в ней было от увядающего деревенского пастушка, но... Но...

Но не может ведь быть, чтобы это оказалась царица Савская?!

И, тем не менее, это была она.

Похоже, ей тоже что-то пыталось припомниться, однако приглядываться ко мне она почла ниже царственного достоинства. Так мы и промолчали, покуда по лестнице вниз не протопотал сияющий наследник Столыпина. Только что не припав на колени, паладин радостно протянул повелительнице какую-то красивую бумажку, в чем-то оправдываясь по поводу какой-то ночной премьеры.

Даже не кивнув, в том же длинном сером свитере, ничего более на себя не накинув, маленькая хозяйка большого дома направилась к выходу. Морганатический супруг поспешил преобразиться в привратника, но не был удостоен даже чаевых.

Снег не смел коснуться царственной особы. Дверь в оскаленный – вечно эти катафалки мне хочется назвать кроссинговерами – распахнулась сама собой.

– Моя жена вас подбросит, – жалобно улыбнулся огромный толстый мальчик и сам помог мне натянуть немножко уже лезущий китайский пуховик.

Пуховик оказался весьма кстати – моя спутница была окружена крещенским холодом. Но что было хорошо – ее холод убил мой голод. Через тонированное стекло я пытался послать унылому Подмосковью укоризненный вопрос, отчего оно не пожелало обратиться в Новую Англию, но черным полям и силуэтам рощ было до меня не больше дела, чем моей безмолвной спутнице. Однако забрезжившее зарево мегаполиса пробудило во мне замороженную любознательность. Мне хотелось дознаться, а вдруг полного мальчика из народа превратили в несгибаемого финансиста тоже какие-то пустые слова случайного попутчика (откуда мне тогда было знать, что в обличье случайного спутника может явиться сам Орфей), но начинать следовало издалека.

– Ваш муж очень неординарный человек, – как бы не сдержав восхищения, обратился я к неподвижному силуэту моей соседки. – Вы ведь с ним с юности знакомы – он всегда таким был?

– Да, он всегда хотел быть начальником, – презрительно ответила она.

Она разговаривала в точном соответствии с моей инструкцией: мне пришлось напрячься, чтобы ее расслышать. И долго собирать силы и подбирать слова, чтобы еще раз обратиться к ней (мы уже мчались среди одноразовых вавилонских башен огненной новорусской Моск вы).

– Мне кажется, я вас где-то видел. В вагоне-ресторане. Вы ехали в Москву поступать в институт...

– Не могу же я помнить всякую шушеру, с которой оказалась в вагоне-ресторане, – я заранее расслышал ее ответ и порадовался, что не задал ей свой вопрос.

Может быть, лучше так?

– Вы не помните молодого человека с хемингуэевской бородой, который угощал вас шампанским в вагоне-ресторане?

– Тогда все косили под Хемингуэя.

А если сказать: «который внушил вам, что вы царица Савская»? Но в итоге я решился произнести лишь одно:

– Остановите, пожалуйста, поближе к метро.

И она умчалась прочь, держа голову именно так, как я ее учил.

А мне перед поездом все-таки нужно было перекусить, хотя аппетит у меня полностью отшибло. Можно, конечно, было чего-нибудь перехватить в вокзальном буфете, но что-то очень уж захотелось посидеть там, где чисто, светло...

Ведь Ирку я увижу только завтра, а без нее мне всюду не хватало света и тепла.

В кафе было не только светло и чисто, но еще и пусто, лишь у входа разговаривали целых два охранника, оба в незнакомой черной форме с многочисленными нашивками, навещающими на мысль об оккупации (Ирку постоянно преследовал этот бред). Один, похоже, давал другому какие-то последние наставления. Невысокий, с крупной обритой головой, он напоминал Муссолини, а второй... Иссохший, с фанатически втянутыми щеками, вообще сведенными на нет узенькой полуседой бороденкой (наверняка из бывших, вроде меня), он был похож на кого-то еще более странного...

Батюшки, это был Дзержинский Феликс Эдмундович!

Муссолини наставлял Дзержинского строго, но покровительственно:

– Я вас оставляю за себя.

Дзержинский отвечал шутливо, но почтительно:

– С диктаторскими полномочиями?

– Без полномочий, – в делах службы шутки были неуместны. – Но если что, сразу бей промеж глаз.

Я обомлел: после царицы Савской встретить еще и Жеку... Я даже встал, чтобы подблизиться к нему поближе, но тут из кухонно-административных глубин появился истинный хозяин – мордатый, величественный, при бабочке, – и мое взыгравшее воображение немедленно опознало в нем удалого лакея, чтоб собрать вместе всех участников разом.

Однако это ему не удалось. Это был другой лакей.

Но тоже строгий.

– Ты куда намылился? – без церемоний обратился он к Жеке, и я замер, ожидая, что в ответ последует знаменитый удар промеж глаз.

Однако годы и жучилы сломили этот гордый дух. Так официанты же, забубнил Жека, но барственный лакей отмел эти увертки:

– Ты что, не знаешь? Если нет официантов, должен ты подавать!

Когда Жека разворачивал передо мною отполированное до блеска, словно бы вырезанное из казачьего седла, кожаное меню, я опустил глаза на глаженую клетчатую скатерть, чтобы он меня не узнал. Однако не вытерпел и глянул.

Разумеется, это был не Жека. Хотя если бы кто-то в свое время догадался обрить его белобрысые кудряшки да хорошенько откормить, да обрядить в черную рубашку, он бы тоже начал смахивать на покойного дуче.

Цены были проставлены в у. е. Я только глянул на них, и вечер встреч был окончен – я принялся снимать со стоячей вешалки свой пуховик, уже начинающий становиться белым и пушистым: прежде чем изображать хозяина жизни, надо сначала хотя бы получить аванс.

Ох и влетело бы мне от Ирки: она не выносила, когда я экономил на еде – на своей, разумеется: чуяла, я как-то себя наказываю за то, что акустика не вписалась в рынок. Исключая, разумеется, подслушивающие устройства.

Но о своем посещении английского дома российского реформатора я не мог не рассказать.

Ирка вскипела как шампанское:

– Ты должен был плюнуть им в лицо и уйти! Да, пешком по полям. Подбросил бы кто-нибудь. Да, хоть и на телеге. Пусть бы почувствовали... Нет, с этого недоумка взятки гладки, но чтобы ЖЕНЩИНА не предложила гостю поесть!..

Ирка произнесла это так, словно речь шла о святотатстве.

– Ничего, я поеду в Москву, очень хорошо оденусь, пойду туда, где она бывает, и оболью ее вишневым киселем. Жалко, что ты такой интеллигентный, надо было дать ей сто рублей и попросить продать половинку батона. По монопольной цене, чтобы она почувствовала, кто она такая. В общем, с тобой все ясно: твоей ноги там больше не будет. Пусть знают, что не все покупается за деньги.

Но когда я в дышащем на ладан либеральном листке прочел занудно-пламенный некролог о безвременном уходе нескгибаемого реформатора, из Иркиных глаз одна за другой показались слезинки:

– Так бедняжка и прожил, не зная любви. Он, наверно, был сирота, не знал, как по-настоящему любят женщины. Да еще и считал, наверно, свою мымру сверхтонченной, он же, ты говоришь, из простых... Что же она теперь одна будет делать, кому она теперь нужна?.. Слушай, позвони ей, вырази сочувствие. Пусть знает, что на свете есть благородные люди. Если разобраться, она тоже несчастный человек, это ведь ужасно – жить с человеком, которого презираешь... Если бы ты тогда ее взял в Ленинград, она бы, может быть, так не ожесточилась...

– И Жеку надо было взять на поруки. Он бы нам показал, где Соловьевский гастроном.

Шутки шутками, но если бы тогда в поезде со мною и впрямь была Ирка, мы с Жекой наверняка расстались бы лучшими друзьями. Ирка и ответила вполне серьезно:

– Ты зря смеешься. Если бы он встретил женщину, которой бы он сделался дорог, он бы и сам начал себя беречь, не бросался на все амбразуры.

– Понятно, дело клонится к объявлению Черноморска вольным городом. – Так я называл многолетнюю Иркину мечту выдать замуж свою лучшую школьную подругу Галку. – А эту замухрышку мы бы выдали за Сережу...

Сережа был пожизненно влюбленный в Ирку однокурсник, за которого она много лет тщетно пыталась выдать то одну, то другую не занятую свою знакомую, оберегая от него только Галку.

– Нет, Сережа бы ей не подошел, он очень хороший, но зануда. Вообще-то несправедливо, что замечательных мужчин на всех не хватает, мы, кому повезло, по-хорошему должны бы делиться.

Я и до сих пор не знаю – может, она и впрямь была бы способна поделиться мною, если бы видела очень уж горькую нужду. Но я-то собою уж точно делиться был не способен – мне было просто нечем, Ирка заполняла во мне все.

А вот много ли заполнял в ней я в эти последние страшные годы? Пустоту, которую она пыталась залить, – выело ее разочарование, быть может, не только в мире, не только в себе, но и во мне? Уж очень мелководным оказалось плавание моего корабля...

Я снова ощутил, что мне есть куда бледнеть. Если Ирка наконец почувствовала, что я не тот, за кого себя выдавал, вернее, не тот, кем когда-то грезил стать...

Нет, ни за что! Если я усомнюсь, что я для Ирки так же бесценен, как она для меня, я не смогу ей помочь. Ибо лишь безграничная уверенность в себе может породить всевластное нужное слово! Вспомни, ведь твоя красивая неправда перевесила однажды даже слово Сына Человеческого!

* * *

Хотя в начале были неприятности.

Неприятности начались еще на кряжистой галерее Гостиного. Сновавшая с независимым видом по второму этажу фарца не глядя бросала мне короткие, как плевки, «чего надо?», «чего надо?» так отрывисто и презрительно, что я хотел сразу же уйти. Но цыганка, цветастая, будто клумба, глядя прямо в душу своими печальными индийскими глазами, говорила до того проникновенно, словно предлагала не «техасы», но свою любовь и преданность. Техасами в ту пору называли джинсы, и все, что я о них знал, а стало быть, и желал, это были выстроченные W на задних карманах и красные молнии на них же (клепки полагалось добавлять по вкусу), – я был уверен, что нашей Паровозной, которую я намеревался ослепить, сравнивать будет не с чем.

Если уж ослепленным оказался я сам. Хотя из недр приоткрытой кирзовой сумы лишь на миг успели просиять и желтые пунктирные W, и красные молнии, и никелированные клепки, насаженные гуще, чем на паровозном котле. Когда у меня появилась Ирка, желание красоваться покинуло меня в считанные недели: та единственная, на которую я желал производить впечатление, и без того мне принадлежала, да ее было бы и не взять ни молниями, ни громом. Но в тот год меня еще можно было пленить этим дикарским бисером.

Зачем мерить такому стройному красавцу, я и так вижу, что прямо на тебя пошиты, изнемогая от любви и скорби, внушала цыганка, не сводя с меня печальных индийских глаз, поедешь к папе с мамой (как она узнала, что я нездешний?..) – все девушки будут вслед смотреть, не скупись, красавец, тебя много счастья впереди ждет, что такое пятнадцать рублей для такого молодого?

Я не скуплюсь, оправдывался я, у меня правда только десять, ну, хотите, возьмите авторучку, она стоит три рубля. Только ради меня она взяла авторучку, сунула мне под мышку джинсы – и округлила свои индийские глаза в смертном ужасе:

– Милиция! Беги, красавец!

И исчезла. А я остался на внезапно опустевшей галерее, сияя из подмышки алыми молниями.

Не верьте этому предрассудку – толстогубые люди с водянистыми глазами и бесцветными ресницами вовсе не обязательно добродушны, – этот милиционер повел меня в пикет не просто по долгу службы, но прямо-таки с нескрываемым сладострастием. «Что с того, что не продавал, – все равно участвовал в спекулятивной сделке. Студент? Значит, все, отучился. Послужишь родине в стройбате». Я даже не пытался его о чем-то просить – слишком уж очевидно было, что это только обострит его наслаждение, – лишь старался не понимать, что происходит. (Вот и зря, впоследствии пеняла мне Ирка, к людям всегда нужно подходить с открытой душой, даже к самым противным.) Бежать уже было невозможно – не пробиться сквозь толпу.

То-то мать порадует, сладострастно разглаживал мой убийца на убогом канцелярском столе какие-то протоколы, а где она, кстати, живет (тоже как-то понял, что я нездешний...) – неправильно, надо говорить не рабочий поселок, а поселок городского типа. А на какой улице? На Паровозной? Вот ни хрена себе пироги, а я жил на Тепловозной.

Я изобразил почтительное удивление: паровозам-де, конечно, за тепловозами не угнаться, не всем так везет – уродиться на Тепловозной! Но электровозы все же будут почище...

– А вот тут я с тобой не соглашусь. Для электровоза напряжение тянуть надо, а тепловоз на любой автобазе может заправиться!

Если бы я уступил ему электровозы без сопротивления, он бы ни за что не проникся ко мне такой нежностью. Он мне даже дал старую газету «Труд», чтобы я не привлекал своими алыми молниями опасного внимания. И еще напутствовал меня крамольным анекдотом о газетном киоске: «Правды» нет, «Советская Россия» продана, остался один «Труд».

Когда он произносил слова «Россия продана», в его голосе прозвучала неподдельная горечь.

Этим «Трудом» мне и надо было бы накрыться, когда за галечными осыпями и порожистыми речушками Южного Урала меня под утро разбудила сотня прапорщиков. Вернее, их было только трое, но галдели они за целую роту, обращаясь друг к другу по званию: прапорщик Иванов, прапорщик Петров, прапоушчик Куксенко. Ат-ставить! Я свесил голову, чтобы они меня заметили, и они отреагировали с предельной благовоспитанностью – мы вам-де не мешаем? (Всего-то три бутылки на столике, а шуму...)

– Конечно, мешаєте, – сердито ответил я и перевернулся на другой бок, еще не отдавленный полированным деревом (в ту пору я не тратил скудные рублевки на такую глупость, как постель).

Один из прапорщиков поднялся на ноги и потрогал меня за плечо:

– Может, и ты к нам?

– Куда его к нам, ты что, не видишь, у него задница красная? – раздался голос снизу, и всякие церемонии были окончательно отброшены.

Что в пору Питеру, то рано для степей, куда я направлялся, но убедиться в этом мне еще предстояло. Сползши с полки, я побрел в тамбур, – там хотя бы не было самых противных в мире звуков – бесцеремонных человеческих голосов, один только ничего о себе не воображающий лязг вагонных стыков, дверь к которым не удавалось захлопнуть никакими усилиями.

Я прижался лбом к стеклу, и оно тут же исчезло, осталась только степь.

Через год я бы сказал: осталась степь за стеклом и моя Ирка во мне. Но тогда я смотрел и смотрел для себя одного.

Мягкая оранжевая трава лежала до горизонта, причесанная в одну сторону, словно речное дно, а из-за горизонта выдувался огромный приплюснутый пузырь, вырастая и расширяясь с каждой минутой... У меня и сейчас сжимается сердце, когда – где угодно, хоть в метро – на миг прикрыв глаза, я оказываюсь в нашей степи. Кажется, что там ничего нет, но это неправда – там есть она, степь.

Я вернулся в вагон и не испытал ни досады, ни злорадства, когда обнаружил в купе возню вокруг раскисшего прапорщика Куксенко: «Прапоушчик Куксенко, устать!» Куксенко сидел, свесив слюни (бог ты мой, мог ли я подумать, что буду так когда-нибудь поднимать мою Эвридику!) на белые подштанники из той же рубчатой холстины, что и мои техасы, только они были синие, как спецовки в нашем железнодорожном депо.

Тем не менее когда мы с моим другом Сашкой Васиным отправились по старой памяти покататься на товарняках, ему сошли с рук даже длинные золотые волосы (нет, нет, к Орфею эти пижонские кудри точно не могли иметь никакого отношения!), а меня окликнул первый же работяга: «Эй ты, с красной задницей, ты чего тут отираешься?» Я оглянулся – мой оскорбитель стоял на груди ржавого металлолома со ржавой железякой в руках, облеченный в спецовку того же цвета техасского неба, щедро помазанную мазутом и ржавчиной, от крещения коими я так легкомысленно отрекся.

Сашка, мудро избравший умеренный технический вуз в отчих краях – не то в Челябинске, не то в Омске, не то в Барнауле, – деликатно потупился; я тоже хотел сделать вид, что не расслышал, однако не на того напал. «Я тебе, тебе – какого тут отираешься?» Из полумрака кирпичного цеха, с недобрым любопытством посвечивая африканскими белками, под-

тянулась еще парочка-тройка таких же чумазных помазанников, вооруженных исполинскими гаечными ключами.

Год спустя, когда у меня появилась Ирка, окажись она здесь, я бы пошел на этих африканцев с голыми руками, – правда, Ирка тут же все бы и утрясла, вооруженная главным своим орудием – открытой душой. Только при Ирке у меня и лихачить прошла охота – та единственная, ради которой стоило рисковать, и без того мне принадлежала. (Сам наутро бабой стал, внезапно прогремел у меня в ушах грозный оперный хор, и ему немедленно откликнулся скоморошистый тенорок: «А зачем бабе баба?» – и меня в очередной раз обдало особым морозцем.)

А в ту паршивую минуту лишь готовность пойти на риск увечья спасла меня от унижения: на мое счастье, подкатил грозно ползгигающий товарняк, слишком даже быстрый, чтобы вскакивать на ходу, но я не колеблясь ухватился за ободранную скобу у тормозной площадки. Рвануло так, что чуть не выдернуло руку из плеча – я и не заметил, как из техасов вывалилась последняя клепка (теперь они казались простроченными из пулемета), зато отчетливо почувствовал, как они затрещали в шагу, и ощутил там приятное веяние прохлады, хотя мазутный воздух был по-степному горяч. Сашку я втащил уже за руку – товарняк внезапно наддал. И не притормозил даже у светофора, где мы обычно прыгивали.

Он так и молотил по рельсам с серьезной крейсерской скоростью – прыгивать было бы чистым самоубийством, и мы довольно скоро оставили шуточки, а, спустившись с тормозной площадки на ступеньку с двух сторон, принялись махать машинисту.

Вотще. «Ты не помнишь, где следующая станция», – как бы небрежно прокричал Сашка со своей ступеньки, и я как бы небрежно прокричал в ответ: «Где, где – в Караганде». И мы как бы непринужденно засмеялись. На самом деле мы уже были черт-те где, а поезд все наддавал и наддавал. Я теперь старался лишь не вдумываться, что происходит, но только следил за мелькающей ржавой щебенкой у себя под ногами.

Наконец я выкрикнул Сашке: «Давай!» – и изо всех сил оттолкнулся против движения: мне показалось, что этот тепловозный садист сбавил ход до терпимого. Но показалось только по контрасту – я лишь чудом удержался на ногах, и не в последнюю очередь благодаря тому, что техасы уже не стесняли мой бег. Если бы я сумел выдержать такой темп на стометровке, меня наверняка взяли бы в олимпийскую сборную.

Когда мне удалось остановиться, товарняк уже прогрехотал в неведомую даль, открыв мне Сашку, неспешно отряхивающего степную пыль со своих отглаженных брюк цвета кофе со сливками. К нему удивительно быстро вернулись манеры британского лорда (и все-таки красные молнии оказались более враждебными народу... Ба, вот он на кого был похож – на Ференца Листа! Не догадывался я, что и это сходство было предвестием...).

Перешучиваясь еще более оживленно, мы зашагали обратно по отполированной до глянца, мелко растрескавшейся грунтовой дороге. День клонился к вечеру, солнце припекало все более и более снисходительно, и наши длинноногие тени шагали перед нами, утягиваясь все дальше и дальше. И мы добрались бы до дома еще до темноты, если бы слева не вырос Красный Партизан.

Странные, неведомо кем и для чего расставленные среди степи ряды бетонных коробок, не оживленные ожерельем одноэтажных домишек с огородами, были населены свирепым племенем красных партизан, из чьих когтей и зубов еще ни один чужак не ушел живым. Рассуждая по-умному, нам следовало бы перебраться через железную дорогу и обогнуть партизан по степи, но для этого мы слишком долго перешучивались. Поэтому мы продолжали идти навстречу опасности, перешучиваясь, правда, уже вполголоса, хотя до окраины Красного Партизана, которой почти касалась наша дорога, оставалось еще не меньше километра. И наши шуточки вполголоса сделались еще более принужденными, когда мы увидели, что нам навстречу катит велосипедист.

Это был жилистый, ошпаренный солнцем паренек в линялых синих трениках со штрипками и еще более линялых красных «кетах». По-хозяйски тормознув, он спросил нас: «Ну? Что?» – только что не добавив: «Допрыгались?». «Ничего», – юмористически пожали мы плечами, переглянувшись так, словно нам очень забавно. И будто ни в чем не бывало двинулись дальше, чувствуя, как он оценивающе смотрит нам вслед, стараясь решить, что сильнее оскорбляет здешние обычаи – длинные золотые волосы и благородное выражение чистого лица или мои техасы? «Красножопый», – наконец услышал я свой разговор, и злой вестник просвистел мимо нас, припав к рулю.

– Поехал оркестр готовить, – пошутил я и сам почувствовал, до чего это не смешно.

Нас встретили и впрямь с народными инструментами – кто с гаечным ключом, кто с обрезком свинцового кабеля, а уже знакомый нам велосипедист и на этот раз был с ржавой велосипедной цепью. Все они, человек шесть, были похожи как двоюродные братья – небольшие, жилистые, прокаленные, в обвислых майках и попугайских рубашках навыпуск – «расписухах». Они и сюда уже добрались, и длинные волосы, как я заметил, тоже, но техасы...

– Это ты красножопый? – без экивоков обратился ко мне паханок, самый жилистый, самый перекаленный и самый расписной. – Какого тут отираешься?

И здесь меня осенило.

– Батю ищу, – проникновенно сказал я.

– Какого еще батю?..

– Батя нас бросил, когда я еще маленький был. А мне сказали, что он живет в Красном Партизане.

– А чего не из города шлепаете?

– Хотели на товарняке подъехать, а он, гад, разогнался, соскочить не могли.

– А твой батя – он какой из себя? Как зовут?

– Николай, – наобум брякнул я, и мой собеседник, с каждым словом смягчающийся, задумался:

– Николай, Николай... Как моего. Моего тоже Николай звали.

– А где он? – с робкой надеждой спросил я.

– Батя? Где ему быть, – одобрительно усмехнулся он и гордо повел глазами на своих дружков. – Сидит.

– Мой тоже сидел. Матушка говорит, его как посадили, так он уже к нам и не вернулся.

А за что твой сидит?

– По бакланке. За драку.

– Клево, и мой за драку. Матушка говорит, как выпьет, обязательно должен кому-то в ухо заехать.

– Вот и мой то ж самое.

– У моего, матушка говорит, было на пальцах выколото К-о-л-я...

– И у моего Коля! Слушай, а когда его посадили?

– Лет двадцать назад. Я родился, и его тут же посадили. Всего на год, но он к нам уже не вернулся. Соседи говорят, обиделся, что матушка сама милицию вызвала. Он грозился, если она не даст добавить, он меня придушит.

– Мой тоже всегда грозился, но матушка всегда ему давала.

При слове «давала» по рядам красных партизан пробежала ухмылка, но засмеяться никто не посмел ввиду торжественности минуты.

И тут меня снова озарило.

– Братан, – шагнул я к паханку, подергиваясь морозцем от проникновенности собственного голоса. – Так это ж он и есть, *наш батя*!

И мы в едином порыве по-братски обнялись. Под расписухой спина у него была жилистая, как трос, а щека, прижавшаяся к моей щеке, шершавая и раскаленная, словно кирпич на солнцепеке.

Дальнейшее помню слабовато – такое чувство, что наливать начали прямо тут же, на дороге. А потом какие-то бетонные лестницы, тесные кухни, потные и радостные парни и девахи, мужики и бабы, и везде жмут руку, везде хлопают по спине, везде наливают. Мой братан, мой братан, в Ленинграде учится, всюду представляет меня Гоша и радостно добавляет: «А мы его чуть не отхерачили!»

А когда на том же месте под огромной степной луной мы на прощанье трясли друг другу руки, с трудом выловив их из ускользающего пьяного пространства, Гоша вдруг выдохнул потрясенно:

– Ты понимаешь, как может получиться?.. Ты кого-то херачишь, а он, может быть, твой брат?..

– Один чувак сказал, – проникновенно ответил я, – что вообще все люди братья.

Гоша напряженно задумался и после долгой паузы, во время которой нас вразной водило из стороны в сторону, озабоченно спросил:

– Офонарел, что ли?

* * *

Когда я впоследствии пересказывал это приключение Ирке, она пришла в торжественный настрой:

– Вот видишь, что бывает, если идешь к людям с открытой душой!

– С какой открытой душой – я же его обманул!

– Ты по форме обманул, а по сути сказал правду: люди же действительно все братья. Только ты выразил это в доступной им форме.

Ирка была так довольна и благодатна, что даже заговорила в лекторском тоне.

* * *

Вот и с моими безвестными Эвридиками мне нужно будет отыскать такую ложь, которая в какой-то глубинной сути окажется правдой. И я найду эту ложь! Удалось же мне однажды исторгнуть алмазно чистые слезы из бесхитростной души фальшивыми, краденными звуками.

Случилось это у бабушки. Не помню, сколько мне было лет, но меня еще занимало, как далеко я сумею дотянуться ногой со стула, подбоченясь свившимися с его плетеной спинкой руками. И мне еще никак не удавалось оторвать взгляд от черно-фиолетовых корней бабушкиных рук, споро сматывавших в один большой клубок мохнатые нитки из нескольких клубков поменьше, вертевшихся у ее ног в облупленной эмалированной миске. Один, покрупнее прочих, смотанный и сам из двух ниток – коричневой и белой, – штрихованно-рябой, как колорадский жук, вел себя еще посолиднее, зато остальные, мелкота, прыгали бесенятами, скакали друг через дружку, кидались на стенку, пытаясь выскочить наружу.

Поведение клубков отбрасывало и на бабушку некий отсвет легкомыслия, но лицо ее, как всегда, выражало одну только примиренность. Непонятно было даже, что ей все-таки подарить на сегодняшний день рождения.

Кажется, лицо у нее было темное, иконописное, высветлявшееся лишь светлым его выражением. Выражение помнится еще и сейчас, а лица давно уже нет. Да, подзывала, да, наливала, да, любовалась, да, будто бог весть какое лакомство, совала конфетку-подушечку, выдирая ее из поллитровой банки, – все это было, а лица уже нет...

Самый маленький черный клубок ухитряется-таки выскочить из миски и беснуется на полу. Я бросаюсь ловить его – я еще недалеко ушел от котенка, – и тут меня озаряет совершенно взрослая мысль: я напишу бабушке стих!

Про что, с какой такой стати, сумею ли – что за пустяки! Кому и писать стихи, как не мне? И через минуту я уже пяtilся к выходу, пряча за спиной лист бумаги и огрызок химического карандаша.

В дверях я напоследок окинул бабушкину склоненную фигуру оценивающим взглядом портного, намеревающегося шить без примерки. Позади бабушки на оконном стекле, на ниточке, как прищепки, сушились грибы – черные против света. Нотные значки, запятые, холерные вибриончики – арабская вязь.

На мой взгляд бабушка подняла седую голову, и в глазах ее тут же ожило неотступное беспокойство, не захворал ли кто, не проголодался ли, – безнадежное беспокойство, всю жизнь она беспокоилась, а никого ни от чего не уберегла – ни от голода, ни от горя, ни от смерти.

И я из дверей покровительственно сделал ей ручкой: не тушуйся, мол, я сейчас все устрою, – шагнул в сторону, чтобы она не заметила моих поэтических орудий, и рванул напрямик за сарай: овладевшая мною стихия и без моего ведома знала, что творцу необходимо уединение.

Лица бабушкиного не помню, а вот стол так и стоит в глазах: сколоченный наспех, но надолго, кособокий, но кряжистый, трава вокруг вытоптана в прах, а окурки в него тщательно втерты, образуя странное тиснение, – так выражают свое волнение болельщики, образуя два-три слоя вокруг вечернего домино. На столе еще валяются несколько черных извивающихся червяков – до конца сторевших спичек, – это Закутаев так прикуривает: спичку не гасит, а ждет, пока обнажится из пламени меркнущая головка, потом берет ее, пшикнувшую, посплюснутыми пальцами и, заслоня ладонью, ждет, торжествуя и тревожась, когда пламя сойдет на нет.

Бабушка называет его соболезнующе – Закутаюшка, но в лице его нет ничего от умильных суффиксов «ушк»-«юшк», когда он шагает со службы в своей черной форменной тужурке – настоящая ветчина в форме. А когда он рассказывает, зловеще супя брови и хватая невидимую трубку: «Охрана мебельной фабрики слушает!» – то совсем уж непонятно, при чем тут Закутаюшка.

Меж тем я готовился к сочинительству так сноровисто, будто занимался этим всю жизнь. Прежде всего следовало погрузиться в поэтический транс, отрешиться от всего мирского, уйти из его плотной плотской атмосферы, густой, как в столовке или на автовокзале. Удалиться от мира за сарай – даже этого было слишком мало, что-нибудь все равно за тобой потащится.

Вот куст – хоть и совсем сквозной, а ухитрился-таки поднять, да так и держит на себе тень сарая, которая без него лежала бы на земле. Вот бочком проскользнула черная собака, угнетаемая стыдом и общим презрением, но прикидывающаяся, будто она всегда готова хоть жалко, но огрызнуться. Где-то с гулким звоном, словно из железной бочки, лают другие собаки. Из сарая слышны полувздохи-полустоны – это дедушка шаркает рашипилем по дереву.

Звучит все, не только хваленая раковина: прижмись ухом покрепче к коре любого дерева и услышишь, как где-то в глубине разогревают могучий авиационный мотор.

Все начинает звучать, только прижмись покрепче. А может, это ты сам начинаешь звучать. И если хочешь отсечь от себя весь этот мирской галдеж, ни к чему не прижимайся, ни на что не засматривайся, ни во что не вдумывайся. И грубая телесная сторона мира понемногу станет меркнуть, умолкать...

Но сам ты внутри себя еще опаснее. Память, только ее зачерпни, всколыхнется, словно бак с кислыми щами, – и так шибанет оттуда мирским духом – хоть топор вешай. Отрешишь и от себя, и голова потихоньку наполнится пустотой, станет легче, больше, воздушнее, подобно аэростату, и понемногу обнаружится, что атмосфера заряжена поэтическим электричеством – рифмами, ритмами, мелодиями читанных и не читанных, и даже не писанных стихотворений, песен и басен, и какие-то внутренние антенны уже прощупывают этот поэтический эфир, какие-то переменные емкости пытаются подстроиться к нужным частотам, – минута, и стихи свободно потекут из-под моего карандаша.

Пока еще только подступал гул мировых поэтических пространств, вывалились куски чужих передач – что-то вроде: «Неси меня ветер за дальние горы» или «О чем шумите вы, колосья?», – но пробудившийся во мне инстинкт медиума отвергал их с порога. Настройка все уточнялась, шумы отфильтровывались – вот сейчас, сейчас...

Вещание началось так внезапно, что я едва не прозевал божественный глагол и лишь в последний миг успел схватить карандаш. Атмосферные разряды мирской суеты проникали в мое общение с небом только в виде плохо оструганного стола, на котором рельефно проступали древесные волокна, превращая прямые в дрожащие, да еще карандаш угодил в щель и прорвал неуместную дырку, через которую сразу же попытался просунуть нос житейский мусор, так что у меня само собой вырвалось: «Гад ты, а не стол!» Но это был маломощный разряд, передача лилась практически бесперебойно. Очевидно, это было знаменитое автоматическое письмо сюрреалистов, вскрывшее мое небогатое подсознание.

На последней строке порыв вдохновения, как былинку, переломил мой химический грифель, но я, будто циркульным держателем, стиснул крошечный кончик пальцами и, словно Паганини на последней струне, довершил финал и в сладостном изнеможении принялся читать, что получилось.

Там в степи, от солнца опалённой,
Там, где не смолкает ветра вой,
Полз боец, сам весь окровавлённый

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.